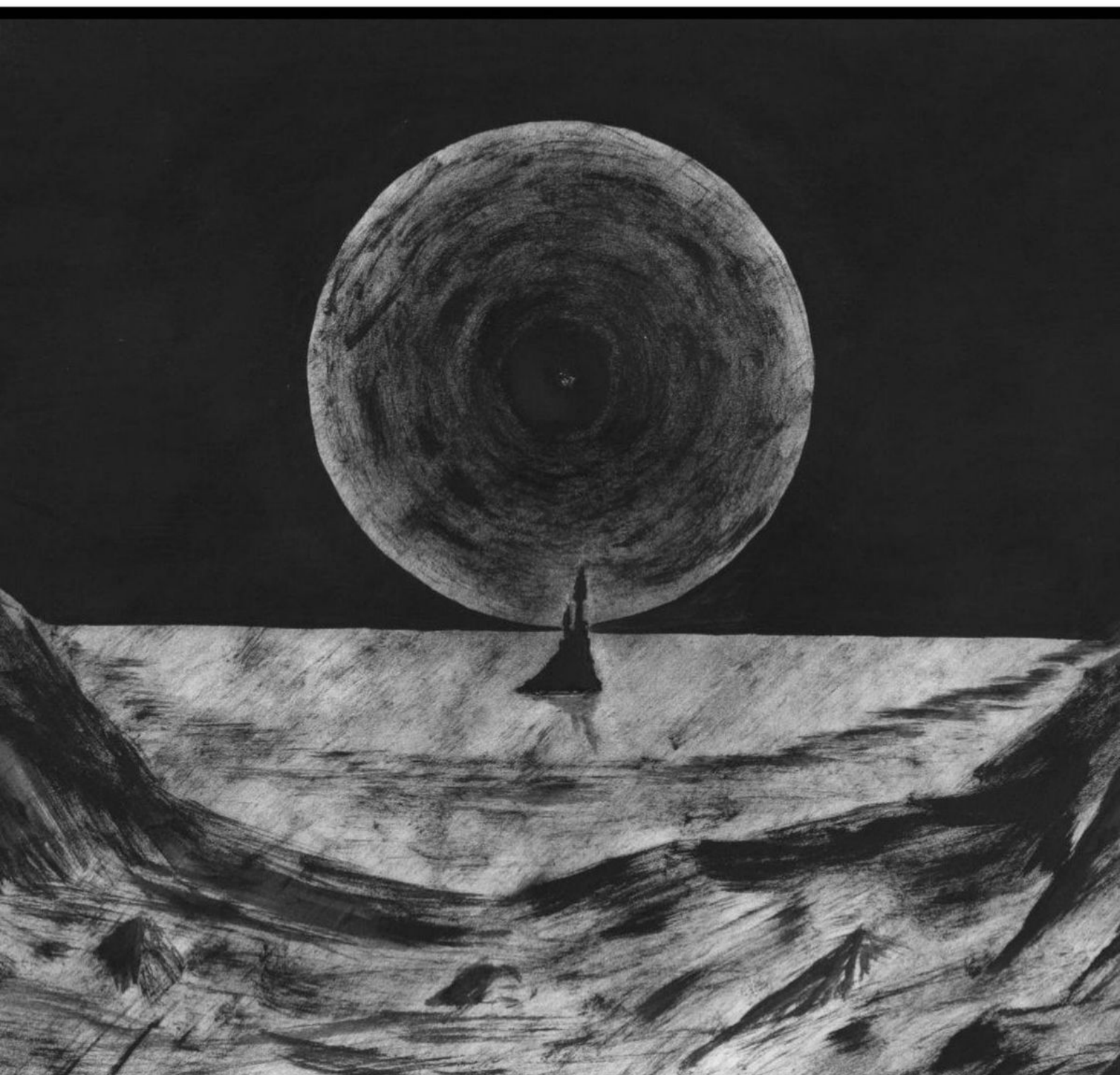


РУСЛАН НУРУШЕВ

Сказки о разном



Руслан Нурушев
Сказки о разном

«Издательские решения»

Нурушев Р.

Сказки о разном / Р. Нурушев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-851327-5

Сборник сказок, повестей и рассказов —фантастических и не очень. О том, что бывает и не бывает, но может быть. И о том, что не может быть, но бывает.

ISBN 978-5-44-851327-5

© Нурушев Р.
© Издательские решения

Содержание

СКАЗКИ	6
«ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ»	6
«Вечер»	6
«Бессонница»	7
«Тик-так, тик-так...»	7
«На свадьбе»	8
«Осторожно! Двери закрываются...»	9
«СКАЗКИ О РАЗНОМ»	12
«Дзинь-дзинь-аминь...»	12
«Свет мой, зеркальце, скажи...»	14
«Луна и принц»	16
«Сказка о последнем человеке»	18
«СКАЗКИ О БЕССМЕРТНОМ»	20
«Начало»	20
«Перевал»	21
«И всё-таки она бесконечна...»	22
«Времена»	23
«ТОПОЛИНЫЕ СКАЗКИ»	27
«Первая весна»	27
«Поль и Полина»	28
«Осень»	32
«ЗАПИСКИ БРЕМЕНСКОГО МУЗЫКАНТА»	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Сказки о разном

Руслан Нурушев

© Руслан Нурушев, 2023

ISBN 978-5-4485-1327-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СКАЗКИ

«ВЕЧЕРНИЕ СКАЗКИ»

«Вечер»

Ах, вечер, почему ты приходишь вечером? Комнату мутными, грязными потоками заливали сумерки – серые, вечерние. Тягуче, словно кисель, растекались они кляксами по линолеумовым полам, по обоям; они медленно клубились удушливыми облаками под потолком, – потолок нависал низко и зримо давил тяжестью. Сгущаясь и уплотняясь в ночной мрак, они скрадывали очертания вроде бы давно знакомых предметов, очертания вроде бы неизменные, скрадывали незаметно и самым причудливым образом, превращая их в тени, зыбкие, колышущиеся тени. Вытягиваясь, тени быстро росли и раздувались до огромных размеров, но, так же быстро опадая, рассыпались на бесформенные пятна. Ах, мир, ты ведь только тень, призрак, только вселенская иллюзия. Без солнца ты лишь пустота...

В комнату входила ночь, шаги ее неслышны – она кралась. Угрожающе извиваясь, тени расплзались во все стороны. Они со злобным вожделием шипели и до омерзения откровенно ласкались друг о друга скользкими телами. Самые смелые приближались и пристально смотрели на меня пустыми глазами, раскачиваясь и сплетаясь в кольца.

Обманутая моей неподвижностью, одна маленькая и бледная, видимо, еще молодая тень осторожно коснулась пальцев. Я чуть напрягся, но она ничего не заметила, – открыто и не таясь, обвила она кисть и вновь замерла. Я видел, как мутно блестели на ее темной поверхности капельки света – свет падал с улицы, – ощущал, как подрагивает от моего дыхания ее холодное и мертвое тело, но она недолго была бездвижной. Внезапно ожив, она заскользила вверх, к плечу, но это было уже чересчур. Сморщившись, с отвращением, я потрянул рукой. Соскользнувшая на пол тень яростно зашипела.

В углу предупреждающе глухо заурчали – я повернул голову. Оттуда, словно ночной паук, выходящий на охоту, выбиралась еще одна крупная, насыщенная мраком тень. Выбиралась, замирая при каждом шорохе, настороженно перебирая тонкими лапами, но внезапно замерла – почувствовала мой взгляд. Я вздохнул. Как они надоели! Я тихо ругнулся и поднялся с кресла, – испуганно дернувшись, тень метнулась в угол. Колышущаяся тьма с неохотой раступилась, когда я шагнул к окну.

За спиной скользили тени, но я смотрел на пустынную, убегающую вдаль улицу, вслед за которой убегала и редкая цепочка фонарей. Ветер нес по обледелым тротуарам снежную пыль, пригоршнями швыряя в окна, – во многих еще горел свет. Я видел, как по шторам и занавесям прыгают голубые блики телевизоров, как появляются и исчезают тени-силуэты. Ах, тени, тени, вы повсюду. Может, там, напротив, никого и нет вовсе? Одни тени, целый дом теней – бетонный, многоквартирный. Это, наверно, они днем люди, а гаснет солнце, закрываются двери, задернуты шторы, и их нет, и только тени мелькают на стекле. Может, и нет ничего вообще, кроме них? И весь мир – театр теней. Только кто мы в нем? Актеры, зрители? А «режиссер»?

В окне напротив шторы раздвинулись и появилась чья-то фигура. Привет! Я кивнул и усмехнулся. От тени тени – привет! Я ведь знаю, приятель, что для тебя я тоже лишь тень на стекле, лишь темный силуэт. Но он молчал, замолк и я. Ветер качал придорожные тополя, и их долговязые тени раскачивались на земле гигантскими метлами. Тени-облака скользили в ночном небе серыми миражами, тихо скользила в их просветах луна – тень солнца, – заливая

город призрачным светом и тишиной. И город тонул в них, превращаясь в город призраков – безмолвных, зыбких, застывших молчаливыми тенями в ночи.

Окно напротив погасло, из-за угла появился прохожий, и тень бежала за ним словно пес на поводке. Привет и тебе! Как дела? Ты куда-то торопишься? А я вот стою. Ах, вечер, почему ты приходишь вечером?

«Бессонница»

Шорох был тихий, почти неразличимый, но тем не менее явственный, – мне не могло показаться. Я уже вполне проснулся и, затаив дыхание, прислушивался. Мыши? Но откуда они на восьмом? Да и не было их никогда в целом доме, а живем мы тут, слава богу, уже не первый год. Казалось, в углу кто-то копошится – осторожно, но настойчиво. В постели было тепло и вылезать не хотелось, но когда там в очередной раз что-то то ли упало, то ли стукнуло, я чертыхнулся и выбрался из-под одеяла. Чтоб их всех! И прошлепал к выключателю. Щелк! Комнату залил свет – яркий до необычности, но тогда я этого не заметил, – я смотрел в угол. А там – никого и ничего. Приснилось?

Я хмыкнул, выключил свет и вскоре вновь лежал под одеялом, но сон почему-то не шел. Что же это могло быть? Господи! Я вздрогнул и чуть побледнел – опять тихо шуршали. К черту! Одеяло в сторону, прыжок, щелчок – свет! свет! свет! Я непонимающе глядел в угол – вновь никого. Совершенно. Обычный пустой угол, ничем не заставленный. Я потер лоб. Чертовщина какая-то. И шагнул поближе. Должно же быть что-то. Я опустился на колени и, сам не зная зачем, ощупал полы, стены – никаких щелей, дырок, ничего. Бред какой-то, был же шорох! Тихий, да, но был!

Я облазил всю комнату, но бесполезно. Сном это быть уже не могло, ручаюсь, но и зацепки никакой. Бред! Я сел на кровать. Или галлюцинации? Я помотал головой. В это верить не хотелось. Да и не страдал я никогда ничем таким. Чушь какая-то. Или проверить? Взгляд упал на тапочки, и я чуть улыбнулся. А почему бы и нет? Я осторожно отнес их в самый угол. Главное запомнить точно, как поставил. Я вновь чему-то улыбнулся, выключил свет и, нырнув в кровать, затих, – я ждал.

Но ждать долго не пришлось. В углу зашуршали, причем настолько явственно, что сомнений, слышу или кажется, быть не могло: что-то шуршало, скрипело, что-то стукнуло, раз даже показалось, что кто-то вздохнул. Я старался делать всё бесшумней, но как только спустил ноги, шорох замер. Заметили? Но делать нечего – я рывком встал и врубил свет. И застыл: в комнате – никого, но тапочки были разбросаны, хотя точно помнил, что аккуратно ставил их рядом!

Вновь обшарив комнату, я устало опустился на кровать. Не галлюцинации, но что же тогда? Что? И ведь неизвестно, что страшней. Я поднял взгляд и только тут заметил – свет. Он был необычным – ярким до странности, до рези в глазах, хотя лампочка стояла слабая, сороковаттная, и отливала даже синевой, настолько был ярок, и чуть-чуть пульсировал, словно живой, – сильнее, слабее. Я так и просидел до утра – со светом и тапочками в углу.

«Тик-так, тик-так...»

– Ну что? Совсем сломался?

– Да шестеренку одну надо заменить, – я с досадой махнул на грудку деталей. Будильник был старенький, еще дедушкин. – Не знаю только, сейчас такие выпускают или нет.

Мать чему-то усмехнулась и помолчала.

– Вспомнила я историю одну, – пальцы ее перебирали поясok, голос стал тих, – с матерью моей, бабушкой твоей, приключилась до смерти ее незадолго. У нее в комнате часы висели

настенные, старые, прадеда еще твоего, давно уже не ходили. Мастера в свое время вызывали, только поковырялся он и почти то же сказал: заменить что-то там надо, только сейчас такого не выпускают. Ну, так они и висели на стене как украшение, пылились только. А однажды вот проснулась она ночью и ушам своим не верит – часы тикают, ну те, сломанные, тикают себе спокойно, словно так и надо. Она тогда, потом рассказывала, так и обмерла, и лежит ни живая ни мертвая, такой страх вдруг ее обуял – ночь, тишина, и часы сломанные идут! Такой страх, что ни крикнуть, ни ногой двинуть. Сама не помнит, сколько лежала так, только петухи когда первые пропели, часы и остановились. Часы она эти сразу на другое утро выбросила, очень уж испугалась. Да и вообще нервная вся стала после этого, всё торопиться стала, умереть боялась, плакала много. Поняла, говорит, в ту ночь, что жизнь-то уходит и никак ее не воротишь. Только зря, наверно, торопилась, умерла она через три месяца, – мать подняла голову. – Разве всё успеешь?

Она вновь усмехнулась и замолчала, разглядывая пятно на полу.

– Ну, во сне много чего можно услышать, – я деловито копошился в деталях, отыскивая нужную. – Да и читал я где-то такое. Может, и она где-нибудь слышала, вот и приснилось. Ага, есть! – я поймал покотившийся болтик и взялся за отвертку. – Я сейчас его пока тебе соберу, а завтра на рынке полазаю, может, найду чего-нибудь. Будильник всё-таки неплохой, хоть и старый.

– Неплохой, – мать вздохнула, посмотрела в окно и поднялась. – На тумбочку мне его поставишь, ладно? Я лягу пораньше, а то устала чего-то я сегодня.

Она ушла, а вслед за ней, собрав и отнеся будильник, отправился спать и я.

Проснулся я поздно и несколько удивился тишине, хотя мать вроде никуда не собиралась – был выходной. Заглянул в ванную, на кухню – никого, но, подойдя к спальне матери, застыл – там тикали часы! Я побледнел. Черт! Я знал, что, кроме того будильника, часов там больше быть не могло. Я рванул дверь – никого, лишь убранная постель и... тикающий будильник! Он шел! Я схватил его трясущимися руками, не веря глазам, но сомнений быть не могло – стрелки двигались. Я бросился в кладовую за отверткой и неверной рукой почти что сорвал крышку. Сорвал и застыл совершенно потрясенный: стрелки шли, но шестеренки были бездвижны! В голове закружилось. Где мама? В страшной тревоге, с нехорошим предчувствием я выскочил во двор в чём был – в майке и трусах. Где она? Где ее искать? Но у калитки с ней и столкнулся.

– Т-т-ты куда? – она ошарашенно смотрела на мой вид, ничего не понимая. – На рынок, что ли?

И взглянула на мои руки, лицо ее вздрогнуло и побледнело – я так и выбежал с будильником.

– А... а это что?

Я лихорадочно дернулся, глаза забегали.

– А это... я вот... – я запнулся. Что я мог сказать? И глубоко вздохнул. – Я шестеренку нашел, – и выпрямился. – И починил. Да, починил.

Лицо матери просветлело.

«На свадьбе»

Когда именно он появился, никто не заметил, может и с начала. Он тихо сидел в углу и молча потягивал вино, и если бы не сукин кот, вряд ли бы, наверно, такое случилось. Хотя сестра как-то кивнула мне пару раз на незнакомца – на кого-то похож, не находишь?

Свадьба была в разгаре, – женился двоюродный брат Женька, и мне на правах, а точнее, обязанностях родственника пришлось участвовать во всех хлопотах, и к концу вечера я порядком вымотался. И к тому же этот чертов Сима! С детства котов не терплю. Когда тетя

Таня, Женькина мать, попросила принести из подсобки вина, я еще не знал, чем всё кончится. При выходе в зал, уже с ящиком в руках, я не заметил путавшегося под ногами теткиного любимца, – грохот был страшный. Помню только, как поднимался из лужи вина, красный от стыда и злости, готовый провалиться сквозь землю. Как тихо ахнула тетка – это было последнее вино. Как молча вздохнул Женька и погрузнели гости, разглядывая битое стекло. Тут-то всё и началось: из-за стола поднялся тот незнакомец и подошел ко мне.

– Успокойся, ничего страшного.

Меня затрясло.

– Да иди ты ...!

Утешитель! Я развернулся и ушел на кухню, хлопнув в сердцах дверью.

Но незнакомец словно бы ничего не услышал. Он вошел за мной и, подойдя к крану, проверил воду.

– Бутылки есть? И пробки.

– Чего? – уставился я. – Какие бутылки?

Он немного нетерпеливо пощелкал пальцами.

– Из-под вина, пустые.

Я хмыкнул и пожал плечами.

– Ну есть.

Он махнул.

– Тащи! – и, закатав рукава, открыл кран. – Только побыстрей, а то гости ждут.

Я был настолько озадачен, что, не найдя ничего возразить, встал и вытащил из-под стола ящик пустых бутылок. Пробки валялись тут же, на столе. Он взял бутылку, ополоснул и, набрав в нее воды, поставил обратно. Я непонимающе таращился на него, но он не обращал внимания. Он спокойно и методично наполнял бутылки водой, одну за другой, не забывая закупоривать, а когда ящик наполнился, кивнул, откинув со лба волосы.

– Иди, отнеси.

Не поверите, сам не знаю, что со мной случилось, – то ли во сне был, то ли помрачение какое, – но я поднялся и... и, взяв ящик, тупо понес его в зал, хотя никак не мог понять, а зачем гостям водопроводная вода?

Помню только, как подошел к столу и, вытащив первую бутылку, потрясенно застыл – там была не вода! Помню изумленные взгляды родственников, радостные возгласы гостей, и как поплыло по залу благоуханье винограда.

– Ай да хитрецы! – сидевший неподалеку Женькин начальник покрутил головой, отпробовав вина. – Все вначале получше подают, а у вас наоборот всё. Хитрецы!

Я бросился на кухню. Где он? Но там уже никого, лишь приоткрыто было окно. Я лихо радочно распахнул ставни и увидел его уже в конце улицы. Он уходил спокойным шагом, всё дальше и дальше, – в светлой рубашке и потертых джинсах, откидывая время от времени длинные волосы с плеч, и над головою его одиноко кружился голубь – белый-белый...

«Осторожно! Двери закрываются...»

Всё началось за две остановки до моей, – это была предпоследняя электричка, и народа ехало немного.

Вначале в вагон обратно из тамбура ввалился гражданин с растерянным лицом.

– Это что же такое, товарищи? – он возмущенно разводил руками, обращаясь ко всем и никому в отдельности. – Это что же за безобразие такое? Мне что же теперь, пешком впотьмах домой возвращаться?!

Поезд прошел его остановку на полном ходу, не сбавляя скорости. Но на гражданина мало кто обратил внимания – проехали так проехали, машинист, значит, проспал, – большин-

ство ехало до конечной, а ее-то уж не проспичь. Лишь одна бабушка с ведерком яиц несколько переполошилась и заторопилась на выход – следующая остановка была ее. Я тоже вначале не придавал этому значения – мало ли что, может, надо так, – но когда за окнами мелькнули и исчезли огни еще одной платформы и послышалось, как заохала в тамбуре бабушка с ведерком, я забеспокоился. Может, экспресс какой? Но кого я ни спрашивал, все пожимали плечами – вроде нет, обычная маршрутная. Вскоре за стеклом на полном ходу пронеслась и моя остановка. Тут уж поднялся шум – на ней выходили многие.

– Совсем обнаглели! – возмутилась дородная дама в красном. – Я на них в суд подам!

– Причем здесь суд? – возразил мрачный субъект с надвинутой на глаза шляпой. – К машинисту надо, узнать, в чем дело.

– Может, тормоза отказали? – робко предположил гражданин с растерянным лицом и сразу же осекся.

Мрачный субъект оглянул его с нескрываемым презрением.

– А вам, понимаю, они никогда не отказывают, – и, надвинув шляпу еще глубже, взялся за ручку двери перехода. – К машинисту надо.

И тут выяснилась совсем уж непонятная вещь: межвагонные двери вообще не открывались, причем обе. Стоп-кран, как ни дергали, не работал.

– Нас что ж, заперли, что ли? – испуганно залепетал растерянный гражданин.

Шум поднялся невообразимый, – было удивительно, что такое небольшое количество людей способно производить столько шума, хотя с каждой пропущенной остановкой возмущенных голосов всё прибавлялось. Что дело неладно, поняли даже те, кто ехал до конечной, но вели они себя поспокойней – дальше нее всё равно не уедешь, – хотя запертые двери вызывали удивление. Ехавшие до конца вели себя спокойней, но только до определенного момента. Когда мелькнула предпоследняя станция, в тамбуре и около него столпились почти все пассажиры, – на лицах многих застыло тревожное ожидание. Может, с машинистом что-то? В углу тихо и испуганно крестилась бабка, вдалеке появились огни.

– Конечная, конечная, – заволновались все. – Сейчас тормозить должны.

Все со страхом и надеждой прислушивались к стуку колес, к свисту ветра за окнами – ну, давай, родимая, начинай, конечная близко, тормози, сбавляй помаленьку! Но по мере того, как огни приближались, лица бледнели и вытягивались – электричка не только не сбавила ход, а, наоборот, казалось, шла всё быстрее и быстрее. Кто-то начал тихо всхлипывать. Мелькнуло привокзальное здание.

– Всё, в тупик пошли, – голос мрачного субъекта охрип, он оглянулся и криво улыбнулся, – щас с рельсов сходить будем. На скорости.

Тишина была гробовая. Я закрыл глаза – ну что ж, простите все, кого обидел, зла не держите. Я был готов ко всему.

Не знаю, сколько так прошло времени, – я напряженно ждал скрежета, удара, грохота, но ничего не было, а потом вдруг в какой-то момент понял, что не слышу стука колес. Я открыл глаза, – за стеклом стремительно расстилалась ночная степь, и сентябрьская луна летела над равниной.

– Бред! – мрачный субъект снял шляпу и вытер лоб. – Вы понимаете, что рельсы кончились?! Здесь уже нет путей, понимаете, нет!

То, что путей здесь быть не могло, знали все – станция кончалась тупиком, – но то, что поезд шел, не сбавляя хода, видели тоже все, – лишь не было привычного перестука. Бабка в углу уже била поклоны рядом с ведерком, дама в красном застыла словно статуя, ни на что не реагируя, а потом внезапно ожил динамик в вагоне. Он кашлянул и приятный женский голос произнес: «Уважаемые пассажиры, не дожидайтесь неприятностей с контролерами. Своевременно и полностью оплачивайте свой проезд! Помните: от вашей оплаты зависит бесперебойное и регулярное движение электропоездов...»

Дама в красном тихо рыдала, что-то бормотала бабка, а я оцепенело смотрел, как мелькает за окном темный пейзаж, как проносятся телеграфные столбы, – поезд уходил в ночную степь всё дальше и дальше, уже без шума и грохота, всё быстрее и быстрее...

Осень 1998г.

«СКАЗКИ О РАЗНОМ»

«Дзинь-дзинь-аминь...» (монолог будильника)

Дзи-и-и-и-инь! Дзи-и-и-и-инь! Дзи-и-и-и-... Фу-у, отпустило – аминь. Поздравьте меня с облегчением! Вы думаете легко быть будильником? И всё мне не спится, не стоитя спокойно – всех перебуду! Ах, жизнь моя неутомная! И в кого я такой пошел?

Я не помню, где и как меня собирали, хотя знаю точно, что на заводе (я ношу на себе его знак). Первым сознательным воспоминанием был отдел часов в универмаге, где я стоял со своими братьями в застекленном шкафу, поблескивая металлическими боками и поверхностями. Я стоял на нижней полке, а с полок выше на нас, простых механических «Made in Russia», слегка презрительно взирала «аристократия» – будильники импортные, кварцевые, дорогие наручные часы с тяжелыми золотыми браслетами и сверкающими циферблатами, – но мы лишь смеялись над ними. Индюки надутые! Смотрите, не лопните!

Ах, мы были совсем юны, почти что дети, наивны и вместе с тем благочестивы, – мы мечтали жить, как заповедано нашей верой, нашей высокой и святой верой. «Вначале была Вечность, лишь вечность без разрывов и просвета, темная вечность, но устала Она от себя и молча молвила: да будет время! И время появилось, и время потекло. И родились из Реки Времени земля и небо, и вышел из ее вод Первый Механик-Часовщик. Он создал нас из камней прибрежных по образу и подобию круга небесного и, окропив водою речною, водою Времени, завел и наказал: идите и ходите, отныне и до скончания веков и возвращения Вечности мерить вам время без сна и отдыха – таково ваше предназначение. Будьте точны и беспристрастны, отмеряйте всем время справедливо и невзирая на лица, ибо если часы твои будут лгать тебе, то кому можно будет верить в мире этом? Будьте точны, ибо без вас настанет хаос, и темная вечность крошечная вновь поглотит всё в свои глубины, где будет лишь плач и скрежет зубовой».

Я немного повзрослел с той поры, но по-прежнему верю в избранность и судьбу нашего рода: ведь мы, часы, воистину венцы творения! Разве не для нас было создано Время и Бытие? Разве не с нами согласуют свой бег светила небесные и божественные сферы? Ведь мы отмеряем время, само Время – тень Вечности в этом мире, – мы делим и дробим, подгоняем и придерживаем его ходом своих стрелок. Без нас Река Времени разольется в безбрежный и неизмеримый Океан, имя которому – Всё и Ничто, а кому под силу овладеть Всем? Вся тяжесть мира – на наших плечах и стрелках, делящих вечность на мгновения, а кто делит – тот и властвует, кто отмеряет – тот и есть мера всех вещей. Так было, и так будет! Дзинь-дзинь-аминь.

Да, мы – род избранный, и я верю, что мир этот создан для нас, для нашего счастья и наслаждения, – ведь так много на свете прекрасных вещей, дарующих радость! Разве не так? Чего только стоит моя первая ночь после продажи, ночь исполнения предназначенного, ночь обетованная!

Меня продали молодой ясноглазой девушке с тонкими прохладными пальцами. Я сразу понял, что понравился ей с первого взгляда, – она недолго стояла у прилавка, выбор был сделан быстро. Она лишь попросила завести меня и, увидев, что со стрелками всё в порядке, расплатилась, даже не проверив силы и красоты моего звона. Хотя всё окупилось в ту же ночь, а точнее, утро, но этому предшествовал и прекрасный вечер. Видимо, желая понравиться мне, молодая хозяйка празднично разоделась, нарядилась и постоянно вертелась перед зеркалом, в волнении поглядывая на мои стрелки, словно спрашивая – нравлюсь ли я тебе? Ее волнение умиляло, она нравилась всё больше, и стрелки мои начинали подрагивать и даже слегка торопиться от возбуждения. Правда, она зачем-то еще накрыла стол на двоих, что было, вообще-то,

излишне – мы, будильники, в пище не нуждаемся. Она весь вечер бросала на меня взволнованные взгляды, а когда за окном на город опустилась ночь и зажглись фонари, упала на кровать и расплакалась. Я не ожидал, что ее чувства ко мне так сильны, и почувствовал лишь удвоенную нежность. Разве она не чудо?

Когда она поднялась и, выключив свет, начала вяло раздеваться, у меня застучали все шестеренки внутри, и я понял – начинается! И я не ошибся: раздевшись и разобрав постель, она потянулась ко мне. Я ждал этого, стрелки сами потянулись к ней, чуть ли не соскакивая с осей. Я помню, как восторженно замер, когда ее тонкие прохладные пальцы коснулись и начали заводить меня на семь, – это было незабываемо! Ах, милая, я понимаю твои чувства, но не взводи так сильно – ведь я могу сорваться раньше времени! (Говорят, не меньше половины молодых будильников страдают таким расстройством – преждевременным звонком, – но, может, это из-за того, что утром для спящего, наверно, любой звонок кажется преждевременным.) Но она не слышала, – она заводила словно в трансе, а потом поставила меня, взведенного до предела, на стул рядом с кроватью. И всю ночь мы были вместе!

Я слышал ее неровное дыхание, слышал, как мечется по подушке, как что-то бормочет сквозь сон, кого-то зовет, а потом и вовсе начала тихо всхлипывать. Я слушал, я прислушивался к ней и к себе, я ощущал, как медленно, но неумолимо приближаются стрелки к установленному часу. И по мере этого чувствовал, как нарастает во мне непонятное напряжение, нарастает мучительное и вместе с тем невыразимо сладостное желание разрядки – всё сильнее, сильнее и сильнее. О, Господи! Скорее час мой долгожданный, скорей!

И час настал! Я плохо помню ощущения в тот миг: это была вспышка, во мне словно что-то взорвалось, сорвалось и захлебнулось, захлебнулось звоном, – я звенел. Звенел! О, блаженство, я умру! Милая, останови меня! И ее рука услышала меня: она хлопнула по моему самому чувствительному месту – по кнопке наверху. Фу-у, отпустило, – аминь! И я поздравил себя с облегчением и первым опытом. При мысли, что такое будет теперь происходить между нами почти каждую ночь и утро, сладостно заныли все шестеренки и стрелки.

Да, жизнь прекрасна. Мне нравится моя хозяйка, ее тонкие прохладные пальцы, что взводят меня каждый раз перед сном. (Хотя говорят, что каждый день – это чересчур и портит пружины, но я не обращаю внимания: я молод, и пока стрелки способны двигаться, я буду звенеть без усталости в любой час, какой она захочет, – ведь таково мое предназначение).

Жизнь – неплохая штука, и я откровенно не понимаю ворчунов и брюзгливых типов. Позавчера я познакомился со своим предшественником: убираясь, хозяйка переставила меня на книжную полку, куда раньше никогда не ставила и где я увидел старый, уже покрытый пылью будильник. Хотя внутри у него еще что-то тикало и стрелки время от времени старчески дергались, он явно уже был неспособен звенеть. Может, этим и объяснялся его раздражительный и желчный нрав, с которым пришлось столкнуться, когда мы поневоле разговорились.

Старик в штыки воспринимал всё новое, на дух не переносил «выскачок», как называл он часы электронные, кварцевые и любые другие немеханические. «Нет у них благолепия нашего, механического, – хмуро ворчал он. – В часах должны быть и вид, и стать, и шум, и звон. А эти? Ни стрелок толковых, ни тиканья – аки твари бессловесные. Только носы задирают». Насчет последнего я не спорил, общался я с ними немного, когда на витрине еще стоял, но старик не скрывал неприязни и к хозяйке! «Ты, брат, не особенно-то увлекайся ею, уж я-то этих вертихвосток знаю, – и стрелки его начинали презрительно дергаться. – Пока ты молод и можешь звенеть хоть через каждые пять минут, ты им нужен, но стоит тебе сломаться хоть раз, тебе каюк: ремонтировать нас, механических, не будут, дешевле купить новый».

Каков старик, а? Опыта жизненного, наверно, ему, конечно, не занимать, но я всё равно не верю ему – разве может хозяйка (моя хозяйка!) выбросить меня? При наших-то отношениях? Ведь она ночи без меня прожить не может! Скорее всего, тут вина самого старика, – если не можешь удержать женщину, не стоит и брюзжать по этому поводу. И вообще не понимаю,

зачем жить, если не можешь исполнить предназначенного, если не ощущаешь радости бытия, радости звона? Не дай мне, Господи, дожить до тех лет, когда от прикосновения любимых рук ничто во мне не шевельнется – ни стрелка, ни шестеренка. Не дай бог! Уж лучше вниз кнопкой со шкафа!

«Свет мой, зеркальце, скажи...»

Вы никогда не забывали (полностью!), кто вы такой? Так чтобы вообще – ни имени, ни прошлого? Я тоже – до сегодняшнего утра. Хотя не знаю, к месту ли здесь «сегодняшний», так как совсем не помню, а было ли, вообще, какое-нибудь «вчера», – может, сегодняшнее «сегодня» первое? Не смейтесь, просто голова уже кругом идет. Представьте, просыпаетесь вы утром и не можете вспомнить, понять, кто вы такой!!! Нет, нет, не подумайте ничего, – я, вообще говоря, непьющий (некоторые черты свои я почему-то помню), и по голове никто не бил (это я почему-то тоже знаю), но кто я – не помню, хоть убейте!

Я сидел на мятой, незаправленной постели, тупо уставившись в точку, пораженный и оцепенелый. Кто я? Откуда? Где я? Я уже обошел весь дом. Это был старый деревянный дом с низкими потолками, поскрипывающими половицами и рассыхающимися подоконниками – небольшой зал, кухня, две маленькие спальни, и везде пусто. Выглянул в окно – и во дворе никого. Дом мне был определенно знаком – просто знаком, но мой ли, я не знал. Как я могу сказать, живу я в нем или просто бываю, если не помню ничего?

Я потерял виски. Как такое может быть, чтобы вообще – вообще! – ничего не помнить о себе?! В голове время от времени мелькали какие-то картины, неясные, смутные, может даже воспоминания, но ведь когда не помнишь их, то и определить нельзя, воспоминания это или лишь фантазии. Я поднял голову. Может, документы какие-нибудь поискать? И еще раз оглянул комнату. Или фото – должна же быть хоть зацепка какая-нибудь. И я принялся перерывать шкафы, полки, тумбочки, а то придет кто-нибудь, а я не знаю ничего, – может, я в дом чужой залез?

И мне повезло: документов я не нашел, но на дне пыльного ящика в столе я наткнулся на пачку фотографий, и цветных, и черно-белых. Но я рано радовался: протерев их от пыли и разложив перед собой, я вдруг понял, что ничего это мне не даст, – хоть плачь, хоть смейся, но ведь лица своего я тоже не помнил! Я кинулся искать хоть какое-нибудь завалящее зеркальце или что-нибудь его заменяющее, перерыл весь дом, но – странный дом! – ничего не нашел, словно боялись его жилыцы отражений, даже мебель была без полировки, а посуда вся – алюминиевая или фарфоровая. Я устало опустился на стул. Идиотизм какой-то! Лица своего узнать не можешь! И, главное, не знаешь, что же сделать?

Я вяло перебирал фотографии: какие-то парни на вечеринке (любим из них, в принципе, мог быть и я), девушки на танцах, чьи-то дети. Одну фотографию – мужчина средних лет с грустным взглядом – вообще окаймляла траурная рамка. Может, я уже умер? Я усмехнулся и, отложив снимки, ощупал лицо. Нет, пальцами себя не «разглядеть», хотя, говорят, слепоглухонемые могут. Как люди раньше без зеркал жили? Были ведь, наверняка, племена, что в пустынях жили и ни зеркал, ни поверхностей водных не видели. Неужто жили (целые жизни проживали!), так и не узнав себя в лицо, не зная своего взгляда, цвета глаз, красивый ты или урод?

Привыкли мы к зеркалам, привыкли разглядывать и постоянно подглядывать за собой, за своими выражениями, улыбками и ухмылками, что без них как без глаз. Я вот вроде бы и зрячий, и всё на месте, а разглядеть себя не могу! Странно, вообще, жить без зеркал – знать всех в лицо, кроме себя. Хотя знать себя, наверно, и не обязательно – с собой вряд ли где столкнешься, и риска, что при встрече себя не узнаешь, поэтому почти что никакого. Хотя

отворись сейчас дверь и войди я сам собственной персоной, наверно, не узнал бы. Интересно, какой я из себя?

Я еще долго сидел над фотографиями, пытаюсь вспомнить хоть что-то, хоть какую-нибудь зацепку. Пытался вычислить себя по иным признакам: изучал и сравнивал телосложение, фигуры, руки и одежду сфотографированных, пытался разглядеть краем глаза свой профиль – тень на стене, но опознать себя не удавалось. Может, конечно, меня там и не было – я же не знаю, чей это дом. К тому же, если это давние фото, то мог и измениться сильно – пополнеть, похудеть или просто повзрослеть. Я даже срезал клочок волос, пытаюсь определить себя по их цвету, но многие фото были черно-белыми, и определить точно оттенки не удавалось. А среди цветных подходила лишь одна – только не смейтесь! – та траурная фотография мужчины с грустным взглядом. Я грустно посмотрел на него и усмехнулся. Как я его понимаю! Если бы я умер, у меня, наверно, тоже был бы такой же взгляд (типун мне, конечно, на язык!). Я со вздохом отбросил снимки, – надо искать другой способ.

Я не помню, сколько так сидел, обхватив голову, слегка раскачиваясь на стуле, но когда взгляд случайно скользнул по столу и застыл на стопке тетрадей, меня осенило – почерк! Может, письма мои где-нибудь завалились? (Если, конечно, это мой дом.) Вначале я сел и быстро исписал тетрадный лист всякой чепухой – скажем так, сравнительный образец, – а затем принялся методично перерывать шкафы и ящики. Набрав кипу бумаг, я принялся сортировать их – на явно не мои и могущие принадлежать мне. Я не обращал внимания на их содержание, меня интересовал только почерк – написание букв, их наклон, соединение и прочие особенности.

И труды были вознаграждены: я нашел, что искал! Это был небольшой блокнотный листок – записка, – но когда прочитал ее текст, я не знал, смеяться или плакать: «Я в городе, хочу купить Наташке подарок. Буду вечером последней электричкой. Не скучай. Лена». Мало того, что оказался Леной, я еще, оказывается, не здесь, а в городе! Ищу подарок какой-то Наташке! Я на всякий случай ошупал себя со всех сторон и успокоился – нет, я здесь, и Леной быть определенно не мог, признаки пола мужского были налицо (слава богу, что не на лице, а то и этого бы не знал!).

Я еще раз взглянул на два листка, что лежали передо мной, – с моим почерком и почерком неизвестной Лены – и почесал затылок. Хотя, черт возьми... Я, вообще-то, кажется, упрямый человек, но факты мне тоже не уступали – почерк был, как говорится, идентичен. Может, я в шутку эту записку когда-то написал? Или пол сменил? (Тьфу-тьфу, конечно, типун мне на язык, но, может, поэтому и забыл себя?) Или вообще признаки пола путаю по беспамятству? Я вскочил и нервно заходил по комнате из угла в угол. Идиотизм какой-то! Мало того, что не знаю, кто я, – не знаю даже, я кто такой или кто такая!

Но мысли мои внезапно прервал стук калитки. Я побледнел. Гости? Или, наоборот, хозяйка? А я кто? И я заметался по комнате, не зная куда деться, но прятаться было уже поздно. Дверь скрипнула, и я услышал, как в прихожую кто-то вошел. Я замер посреди комнаты. Кто я? Откуда? Как здесь очутился?

Но придумать ничего не успел – в комнату вошла женщина в темном платье, невысокая, с аккуратно уложенными на затылке волосами. Она вошла, но, увидев меня, остановилась как вкопанная. Я, вообще-то, ожидал чего угодно, но только не такого: она торопливо перекрестилась, побелев как полотно, и начала пятиться к дверям с застывшим ужасом в глазах, с трясущимися губами. А когда я робко шагнул к ней, пытаюсь что-то объяснить, она взвизгнула и бросилась вон из дома. Испуганный не меньше, а, скорее, даже больше ее, я выскочил во двор, а потом, сам не зная зачем, и на улицу, но когда увидел, как шарахнулись от меня двое здоровенных парней, что вышли из соседней калитки, причем с тем же выражением ужаса, ужас обуял и меня. Господи, да кто же я?! Кто?! И бросился бежать.

«Луна и принц»

Здравствуйте, я – принц. Да, да, самый настоящий. Я должен был поцеловать и разбудить принцессу, и я ее поцеловал – и не раз! – но она так и не проснулась, и теперь я в тоске и одиночестве брожу по залам и коридорам спящего замка. Что мне теперь делать? Ведь всё должно было сложиться иначе. Принцесса должна была проснуться, и мы сыграли бы веселую свадьбу и зажили бы тихо и счастливо: я бы расширял королевство, она – растила детей, и даже старость наша была бы легка и приятна, и умерли бы мы в один день.

Но она не проснулась! Что мне делать? Ведь в ее пробуждении заключался смысл моего существования – да, да, смысл и цель. Ведь меня готовили к этому чуть ли не с младенчества, и, наверно, даже раньше. Когда мать-королева носила меня еще под сердцем, граф Калиостро, наш придворный предсказатель и мой учитель, магистр тайных наук, изрек отцу: «Вот родится принц, ваш наследник, великий правитель, которому суждено расширить королевство до Великого Океана на западе и до Великих Гор на востоке, и многие короли и императоры поклонятся ему. Я предрекаю ему великое будущее, и оно непременно исполнится, если он полюбит и разбудит спящую принцессу в заснувшем замке, что стоит далеко на севере, на берегу Лунного озера. Об этом мне поведали звезды».

Это и определило мою дальнейшую жизнь, – меня стали готовить к походу на север. По приказу отца придворные художники и ваятели, руководствуясь словесным описанием принцессы (со слов Калиостро, тот видел ее в своей юности), создали с десятков ее портретов и скульптур. Моя спальня была увешана и заставлена их мраморными и живописными трудами: «Принцесса на балу», «Принцесса на прогулке», «Принцесса принимает послов». Над моей люлькой-качалкой постоянно висел медальон с ее изображением, и первым воспоминанием детства были глаза принцессы – небесно-голубые, с ласковым, чуть насмешливым взглядом из-под длинных ресниц (а глаз матери я так и не запомнил – она умерла, когда мне не было еще и года). Каждый день мне читали на ночь сказку про спящую красавицу – только ее на протяжении многих лет, но мне это не надоедало (разве может надоесть рассказ о своем великом будущем?). Сказку сочинил специально для меня сам Калиостро. Мне дарили принцесс-кукол, голубоглазых, с золотистыми волосами, и я засыпал с ними в обнимку. Ведь я должен был полюбить принцессу, ибо, как объяснял Калиостро, только истинная любовь способна сотворить чудо и разбудить ту, что заснула много веков назад (а может, и тысячелетий, этого не знал даже граф).

И я полюбил ее, полюбил всеми силами души – вначале скорее как мать: я просыпался, я играл, резвился и засыпал в своей кровати под ее ласково-строгими взглядами с картин и постаментов, я подолгу разговаривал с ней, сняв с шеи медальон с ее же изображением, с любовью разглядывая черты, что стали такими знакомыми и родными. Но по мере взросления я стал любить ее и как женщину, как молодую красивую девушку, – ведь она не менялась с возрастом. Я ночами напролет мечтал о дне, когда исполнится восемнадцать и я отправлюсь к Лунному озеру за своей мечтой, чтобы разбудить ее одним поцелуем, – это было для меня пределом мечтаний. Правда, отец постоянно бубнил мне, что я не должен чересчур увлекаться. Что это только начало, что на мне лежит высокая миссия и я должен расширить королевство, доставшееся нам в тяжелой борьбе с Империей, насколько это возможно. Но я слушал его невнимательно: что для него было средством, для меня стало целью, – ведь я действительно полюбил спящую.

И когда долгожданный день, день совершеннолетия, настал, я, окрыленный надеждами, отправился в далекий путь на север. Я помню, как взволнованно, хоть и не подавая виду, обнял меня отец-король, как вновь шепнул на ухо: «Это только начало, сынок. За тобой – великое королевство!» Помню, как напутствовал учитель Калиостро, – он хлопнул по плечу и чуть

качнул головой: «Помни, мой принц, только истинная любовь сможет пробудить принцессу, – будь ее достоин!»

Много дней и ночей добирался я до Лунного озера: пришлось пересечь не одно королевство, сменить не одну лошадь. Я мерз в горах, голодал и умирал от жажды в каменистой Пустыне Смерти, я спасался бегством от пещерного дракона, ненароком разбуженного мною, а один раз чуть не утонул в горном потоке. Но в конце концов я добрался до спящего королевства, что раскинулось на берегах Лунного озера, Озера Вечной Луны. Оно называлось так потому, что с тех пор, как заснул королевский замок, из этих мест ушло и солнце, видимо посчитав, что светить ему здесь больше некому, и его пустынные каменистые берега освещались лишь ночным светилом, незаходящим здесь ни на час.

Я помню, как продирался сквозь заросли шиповника и бурьяна, что разрослись за столетия до невероятных размеров и окружили замок колючей стеной. Как торопливо поднимался по поросшей травой лестнице и с нарастающим волнением взирал на застывшие в лунном свете безмолвные фигуры слуг, пажей, фрейлин двора. И даже видел замершее пламя в камине. Всё было как в сказке, рассказанной Калиостро, он описал всё точно.

Я помню, как с затрепетавшим сердцем вошел в покои принцессы и остановился как вкопанный перед ложем, увитым плющом. На нем бездвижно лежала Она, моя мечта и отрада. Она оказалась не совсем такой, какой изображали, и волосы были не золотистые, а русые, и глаза, как выяснилось позже, не голубые, а карие, но тогда я не вглядывался. Я боялся взглянуть на нее и быстро поцеловал в губы, зажмурив глаза, – ее губы были холодны как лед. И ничего не произошло – она не проснулась. Она лишь еле слышно вздохнула – или показалось? – но оставалась по-прежнему во власти непробудного сна. Открыв глаза, я в ужасе, не веря в происходящее, – ведь она должна проснуться! ведь так предписано сказанием и звездами! – поцеловал ее еще раз, а затем еще и еще. Но всё было тщетно, и тогда я упал на пол и заплакал – горе мне! горе!

С той поры прошло уже много лет, а может, и веков, – кто может знать это в месте, где время почти остановилось? – но я до сих пор сижу здесь, в ее спальне, у изголовья кровати. Зачем? – Не знаю сам. Может, просто потому, что готовили именно к этому и только к этому – быть рядом с ней, – ведь это предначертано небом. Я не знаю, что делать в этом мире, если рядом нет ее. Куда идти? Я не умею жить для чего-либо другого, я ничего не умею, ни к чему не способен, – я могу быть только рядом с ней. Наверно, это не любовь – иначе бы она проснулась, – просто я не могу по-другому.

Калиостро говорил, что в замке время давно остановилось, но он ошибался. И дело не в том, что я стал стареть и терять волосы (ведь я пришел сюда извне). Я стал замечать в последнее время, как меняется сама принцесса: я видел, как появились у нее на висках первые седые пряди, а под глазами – почти неразличимые морщинки, как слегка поувяло лицо. А вчера видел, как в соседнем зале рассыпалась в прах от старости фигурка королевского камердинера. Время здесь шло, хоть и очень медленно, можно сказать ползло, оно не текло, оно капало.

Хотя, может, граф был и прав, – может, это я сдвинул застывшее здесь время с мертвой точки. Наверно, моего поцелуя оказалось недостаточно, чтобы разбудить принцессу, но, возможно, этого было достаточно, чтобы запустить остановившийся маятник, я не знаю, но я знаю, что замок чуть-чуть ожил. Раз в месяц, когда луна становится полной и свет ее нестерпимо ярок, когда озеро за окном вспыхивает серебристыми бликами и искрами, а тени ложатся на пол спальни четкими и резкими, в прежде безмолвных залах и коридорах начинается тихое движение. И я слышу шорохи, чьи-то вздохи, порой замечаю на другой день, как сдвинулась фигурка слуги или пажа со своего места или изменила позу, выражение лица. Я замечаю в такие дни, как начинает что-то волноваться и в принцессе: щеки ее розовеют, дыхание учащается. А один раз она и вовсе приоткрыла глаза (именно тогда я увидел, что они не голубые), – взгляд

ее был отрешенный, затуманенный, ничего не видящий, но это было только раз, только мгновение.

В остальное время в замке тихо и безмолвно – ни единого звука, лишь стукнет иногда ветер плохо прикрытой ставней да тоскливо завоет в трубе. Иногда я хожу гулять к озеру – его зеркальная гладь с серебристой лунной дорожкой, пустынные берега и сама луна, безмолвная, застывшая в вечном зените, успокаивающе действуют на меня. А иногда просто брожу вокруг замка, но это бывает не столь часто, – ведь я пришел сюда не из-за озера или лунного пейзажа, я пришел за мечтой, за своим детским сном, а нашел спящую явь. Мне ничего не надо, мне никто не нужен – я готов часами и сутками не отходя находиться у ее кровати, – что мне еще делать?

Иногда я тихо разговариваю с ней (конечно, говорю только я), и порой кажется, что она меня слышит. Но чаще я просто сижу рядом, в печали и молчании, подолгу разглядывая ее, ее черты, знакомые мне с детства, хотя она оказалась совсем не такой, какой изображали, не такой уж красивой. И к тому же время меняло ее черты и неумолимо будет менять их и дальше, но мне всё равно, ведь я приучил себя видеть в ней смысл своего существования еще с детства – так начертано звездами, я не могу по-другому. Дело ведь, наверно, не в любви, просто так должно быть, каждый должен исполнить то, что ему предназначено. Я знаю, что так и состарюсь у ее кровати, но что мне годы? Я – принц, и я в ответе за тех, к кому приручился, – а вдруг она всё-таки проснется? Сказка должна исполниться, даже если она исполнится в последний день, даже если она неисполнима и перестала быть сказкой, – что с того? Ведь я – принц...

«Сказка о последнем человеке»

Когда он родился, никто еще не знал, что он будет последним человеком. Мама лишь устало улыбнулась, когда его поднесли к ней, – снова мальчик. И забылась глубоким сном, а отец удовлетворенно ухмыльнулся – еще один сын.

Он рос обычным ребенком, ничем не выделяясь, но и не отставая от других. Когда его старшие братья – один стал известным журналистом, другой попал в тюрьму – пытались вовлечь младшего в какую-нибудь авантюру (залезть в сад к соседям или, спрятавшись у кладбища, пугать вечерами прохожих), он только испуганно кивал и шел с ними. Хотя сердечко его начинало уходить в пятки при мысли о возможности попасться.

Но попался по-настоящему он уже взрослым, а точнее, молодым двадцатилетним человеком, – он несильно изменился с возрастом. Когда на танцах к нему подошла девушка ли, женщина ли, ну в общем существо женского пола, и поманила глазами, он только вновь испуганно кивнул и пошел за ней. Через полгода он на ней женился, хотя она оказалась старше его на семь лет, а еще через три месяца стал отцом – он был обязательным человеком и по своим долгам старался платить. Хотя позднее, в минуту откровенности, он узнал от нее, что всё так и задумывалось, – ей надо было замуж и хотелось ребенка. Но он к ней к тому времени уже привык, может даже полюбил, и не обиделся – всё равно ведь на ком-нибудь жениться надо. И махнул рукой.

Жизнь его текла размеренно и спокойно. Он просыпался, завтракал и уходил на работу, чмокнув жену в щечку и погрозив пальцем детям, чтоб не шалили. На работе аккуратно составлял отчеты и сводки, а в перерыве обедал с сослуживцами в кафе напротив, украдкой поглядывая на молоденькую барменшу за стойкой. Вечером же, усталый и довольный собой и своей устроенной жизнью, возвращался домой, чтобы сытно поужинать и почитать перед сном вечернюю газету.

Так текли годы, но он не знал, что он будет последним человеком. Только жена его, что начала уже увядать к тому времени, в ту последнюю ночь вместе словно почувствовала что-то. После того, как он удовлетворил желание и откинулся на подушку, она чуть помолчала и, блуждая невидящим взором в пустоте, тихо спросила, любит ли он ее? Застигнутый вопросом

врасплох, он что-то невразумительно промямлил, что это само собой разумеется, разве может быть иначе? Она только вздохнула и отвернулась, тихо пожелав спокойной ночи. Он не знал еще, что это последние слова, что слышит от другого. Пожелал спокойной ночи и он, а на другое утро людей уже не было – он проснулся один.

Открыв глаза, он первым делом глянул на часы – пора на работу. Торопливо одеваясь, он крикнул на кухню, чтобы разогрели завтрак, но, к его удивлению, никто не отозвался – ни звуком, ни движением. Слегка раздраженный он ворвался на кухню, застегивая пуговицы на ходу, – опоздаю ведь! И остановился – никого. Он хмыкнул. В душе? Но в ванной тоже тихо. Он медленно обошел квартиру и в спальне детей застыл: кровати не заправлены, одежда на местах, но детей нет – постели их были уже холодны. Всё еще не понимая происходящего, он неуверенно позвал жену, детей, но никто не ответил, – лишь одиноко и равнодушно тикали часы на стене. Ему вдруг стало страшно. Где они все? Не могли же уйти просто так и спозаранку! Да и куда?!

Он выскочил на площадку и кинулся к соседям. Может, у них? К удивлению, дверь оказалась не запертой, но соседей не было – везде обычный порядок, даже обувь стояла рядом у дверей, но квартира – пуста. Он выскочил из нее и бросился к другим, но никого не было и там. Где все? Где? Он бегал по этажам, он звал, кричал, но везде было одно и то же – незапертые двери и пустые квартиры. А когда выскочил на улицу, а жили они на многолюдном проспекте, он, потрясенный, застыл, – он не верил глазам: улица была пуста и безлюдна. И лишь тоскливый ветер гнал по мостовой опавшую листву и мусор, а вокруг расползалась тишина – ни шума машин, ни людского гомона. Он зашатался, он страшно закричал и побежал. Куда? Этого не знал он и сам.

Он не помнил и не понимал, сколько и куда бежал, но под конец, обессиленный и с помутившимся взором, упал на городской площади. Он долго лежал без движения, а когда поднялся, солнце уже клонилось к западу, и он с потухшим, мертвым взглядом побрел по городу. Город был пуст, как были пусты и небеса над ним, город вымер. Поблескивали стеклами брошенные автомобили, распахнутые двери пугали пустотой помещений, на город наступала ночь – солнце уходило из него. Человек с тоской, безмолвной, тихо застывшей в помутившихся глазах, смотрел на заходящее солнце – он почему-то знал, что оно больше не взойдет. Для кого ему светить? Мертвому городу не нужен свет, и когда он погас, человек вскрикнул, упал и больше не поднимался, и лишь насмешливое эхо подхватило и понесло его последний крик по безлюдным улицам и площадям...

...Шли годы, прошли века и тысячелетия, а над разрушающимся городом светили лишь звезды – яркие, немигающие, и их холодный свет падал и искрился в окнах домов, пустых и безмолвных, – солнце так и не встало на другое утро, утра не было. Не было уже и человека – даже праха, и лишь крик, тот предсмертный, последний крик, крик отчаяния, всё звенел над мертвым городом, разносимый ветром, тоскливым, стонущим, напоминая о былом. Былом, но прошедшем. Лишь крик... Ах, тишина! Почему всё так? Почему?

Осень 1999г.

«СКАЗКИ О БЕССМЕРТНОМ»

«Начало»

...Он не помнил, когда появился на свет – сорок ли, сто или сорок по сто лет назад. Казалось, что такого никогда не было, чтоб не было его, казалось, что он был всегда, хотя знал, что это не так. Ведь он помнил руки матери, теплые, пахнувшие кизяком, дымом и свежим хлебом, как помнил и запах отца – крепкий, грубоватый букет горькой степной полыни, козьего сыра и овечьей шерсти. Но лиц их не помнил вообще, хотя прожил с ними до пятнадцати лет, до той самой осенней ночи, когда проснулся от шума дождя за стеной и почему-то понял – ему пора. И он не задавал себе лишних вопросов, – он без промедления собрался и тихо выскользнул из дома, перед этим, однако, нацарапав на вощенной дощечке, на которой отец записывал свои долги и расходы, несколько строк на прощанье: «Не ищите меня. Со мной ничего не случится. Я никогда не умру. Гильгамеш».

Он не знал, куда уходит и для чего, но знал, что так надо, что нельзя больше оставаться с людьми, давшими ему жизнь, – бессмертное не должно иметь начала. А он и впрямь был бессмертен, – об этом он догадывался, наверно, с самого раннего детства, хотя окончательно всё стало ясно позже, после того случая.

Ему было тогда двенадцать, они возвращались с отцом с ярмарки на арбе и, не успев добраться до их стойбища засветло, остановились ночевать в степи. Гильгамеш лежал на вонявшей шерстью овчине, рядом с быстро захрапевшим отцом, и смотрел на звезды. Вовсю стрекотали цикады, фыркала во сне Байма, их гнедая упряжная, ворочался отец, но он смотрел лишь в бескрайнюю Небесную Степь, где ушедшие предки зажигали для них вышние костры. Смотрел и любовался своей звездочкой, отец как-то показывал ее, звезду, под которой он был рожден, – серебристую звездочку в созвездии Сайги. Она казалась одинокой даже среди своих сестер.

А потом произошло страшное: звезда его вдруг сорвалась с места и начала стремительно падать. Прочертив в небе короткую дугу, она сгорела и исчезла в ночной бездне навсегда. Это было как в кошмарном сне: внутри словно что-то оборвалось, он закричал, он забился в припадке, разбудив и до смерти испугав отца. Гильгамеш понял, что он умирает.

Холодного как ледышку, одеревеневшего так, что не могли разжать судорожно вцепившихся в овчину пальцев, привезли его на стойбище к деду Мергену, знахарю и колдуну. И отец отдал ему сразу трех ягнят, и пообещал еще трижды по столько же, если спасет Гильгамеша, единственного его наследника, надежду и продолжателя рода.

Два дня и две ночи, запершись и никого не пуская, просидел не отходя от бездвижного мальчика дед Мерген. Жег в горшочках травы, снадобья, пытаясь заклинать каких-то духов, известных только ему, впадая временами в оцепенение и мало чем отличаясь в такие мгновения от Гильгамеша. А на третий день вышел к отцу с матерью, а они никуда не уезжали с его стойбища, и хмуро покачал головой: «Ничего больше не могу. Не встанет сегодня до захода – не встанет никогда, а встанет – будет жить и никогда не умрет».

И Гильгамеш встал: в три часа пополудни мать услышала, как зовет он ее слабым голосом из дома Мергена и просит пить. Он очнулся, а к вечеру уже начал ходить и мог есть, хотя был и очень слаб. Он сильно изменился с той поры. Шумный и неугомонный прежде, любящий поозорничать, он замкнулся в себе, стал тих и рассеян, словно постоянно прислушиваясь к чему-то, чего-то ожидая, может даже знака.

Он никому не рассказывал, но помнил, хоть и смутно, где был в те дни и ночи, что бездвижно лежал в доме Мергена. Он помнил, что куда-то падал, проваливался в какую-то бездну,

бесконечную пропасть, охваченный ужасом, который и сковал его тело. И лишь когда вдруг услышал чей-то тихий голос – Моргена ли? – шепнувший только «не бойся, дна не будет», всё исчезло – страх прошел. И он очнулся и понял: смерти нет и быть не может, если ее не бояться. И он уже не боялся, потому что знал – пропасть Времени без дна, а, значит, он бессмертен, ибо падать в нее можно вечно. Он помнил всё это и поэтому ничуть не удивился, когда проснулся той дождливой осенней ночью, а это было три года спустя, и понял – пора уходить, так надо. И он ушел в ту ночь, в тот дождь, оставив отчий дом и отца с матерью навсегда, и никогда больше их не видел.

Так началось странствие Гильгамеша, имевшее начало, но не имевшее конца, – странствие длиною в жизнь.

«Перевал»

...Однажды Гильгамеш отправился к Морю. Он мечтал увидеть его еще, наверно, с детства, с рассказов отца. Тот, привыкший видеть воду лишь в колодце, как-то ездил с караваном в прибрежные селенья продавать шерсть и вернулся оттуда потрясенный зрелищем бесконечной водной глади.

Гильгамеш хотел видеть Море, но путь ему преградил Темэр-Тау, горный перевал. Ощетинясь неприступными, почти отвесными скалами и вековыми ледниками, он разверз под ногами непреодолимые пропасти и расщелины и не пускал Гильгамеша. Конечно, Гильгамешу говорили, что Темэр-Тау неприступен, что еще никому не удалось преодолеть его. К тому же в этом не было и нужды: двадцатью милями северней проходила Царская Тропа, проход к Морю, которой и шли многочисленные караваны, туда и обратно, в богатые приморские города. Но Гильгамеш был человеком упрямым и не хотел сворачивать к Тропе, так как твердо решил для себя, что пройдет к Морю здесь и только здесь – напрямую через Темэр-Тау.

Недели две он не отступал и всё пытался пробиться через перевал, найти хоть какую-нибудь тропку, но горы были неприступны и лишь смеялись над ним. Это вконец разозлило Гильгамеша, и он дал тогда клятву на крови и хлебе, самую страшную клятву его рода, что будет он проклят и землей, и небом, ежели пройдет к Морю иным путем, чем через Темэр-Тау.

И он остался жить у его подножья: построил хижину, что укрывала его от непогоды, охотился и собирал орехи в лесах предгорий, ловил форель в близлежащем озере. А по ночам, сидя у костра, смотрел на звезды, среди которых уже не было его звезды, смотрел и о чем-то, казалось, думал, но это только казалось – он просто с детства любил звездное небо. Гильгамеш знал, что ему не преодолеть перевала – у него ведь нет орлиных крыльев, – но он знал и другое: ничто не вечно, даже горы. И он просто ждал – вечность оставалась в запасе у него, а значит, он всё равно выйдет к Морю – когда-нибудь.

Так проходили годы и века, может даже тысячелетия, Гильгамеш не вел счета дням своим – зачем ему это? – он просто ждал. Два раза в год вдоль Темэр-Тау, на север и обратно, проходил большой караван из Аль-Каблы, далекого южного города, о богатстве и могуществе которого ходили легенды, и тогда он узнавал, что творится в мире. А в мире творились удивительные вещи. Караванщики шепотом рассказывали, что где-то далеко на севере люди научились создавать чудесные машины, которые могут работать сами, без людей, и заменят лошадей и верблюдов, что эти люди научились летать и скоро полетят к звездам. Гильгамеш вначале лишь смеялся над их рассказами, но в один год караван не пришел. Вместо него появились неведомые ему люди, светловолосые, голубоглазые, вместе со страшными машинами, о которых ему рассказывали. Машины стали рыть канавы и насыпать землю – они прокладывали дорогу. И вскоре вдоль Темэр-Тау серой лентой протянулась широкая бетонная полоса, по которой засновали, туда и обратно, вначале редкие, а потом всё чаще, урчащие, фырчащие автомобили.

Гильгамеш удивлялся в первое время происходящему, но потом привык – за свой долгий век ему пришлось видеть немало перемен, да и интересовал его, в конце концов, только перевал. Так продолжалось не один год, пока в один прекрасный день машин не стало: шоссе опустело, и рев двигателей перестал оглушать окрестности Темэр-Тау.

А через несколько лет – или столетий? – когда Гильгамеш уже стал забывать о них и о людях вообще, когда дорога стала зарастать травой и размываться дождями, на ней появился пеший человек. Исхудалый, заросший, в обветшавшей одежде, он рассказал Гильгамешу, что был Великий Потоп и все города и селенья смыло Море, и что оставшиеся в живых вернулись в пещеры и леса. Человек ушел дальше, и потом долгие-долгие годы Гильгамеш не видел ни одной живой души. Но он ничему не удивлялся, – он знал: всё течет, но ничего не меняется и всё возвращается на круги своя. И оказался прав: через несколько столетий у перевала вновь появился караван с юга, и копыта лошадей и верблюдов глухо цокали по разбитым, заросшим травой, плитам – остаткам шоссе.

Гильгамеш ничему не удивлялся – он только ждал и своего дождался. В одну дождливую осеннюю ночь, в такую же, какой ушел из родительского дома, Гильгамеш проснулся от толчков. Под ним дрожала и ходила ходуном земля, – начиналось землетрясение. Он выскочил из хижины и услышал в темноте, как нарастает гул, а потом раздался страшный грохот, – казалось, рушатся сами небеса. И он упал на землю в великом страхе, зажав уши, спрятав голову под камни, так страшен был грохот. И так пролежал до рассвета, а когда встало солнце и встал с земли Гильгамеш, он увидел, что в прежде неприступной стене скал зияет широкая расщелина, и он понял – свершилось. Он быстро собрался и двинулся по дну расщелины, а к вечеру – вышел к Морю.

За спиной его расстилались песчаные дюны – застывшее море песков, – а перед ним шумело море живое, и катило бесконечные гряды волн. И Гильгамеш вдохнул морского, напитанного солью и ветром, воздуха и тихо рассмеялся. Он с детства мечтал увидеть Море, и оно было перед ним. Он поклялся, что пройдет через Темэр-Тау, и он прошел. Разве он не добился своего? Гильгамеш рассмеялся и побрел вдоль берега. Это была его первая встреча с Морем.

«И всё-таки она бесконечна...»

...Однажды Гильгамеш был в Аль-Кабле и слушал беседы Ис-Аль-Талима, величайшего мудреца и философа во всем Южноземье, с его учениками. И услышал удивительнейшую вещь: по его словам, Земля была шаром, а не бескрайней равниной, как всегда представлялось Гильгамешу.

Удивленный услышанным, он подошел после беседы к мудрецу и обратился с вопросом: «Скажи, о мудрейший, правильно ли я понял: если пойду я в одну сторону и никуда не сверну, то приду туда же, откуда вышел?» Ис-Аль-Талим улыбнулся и закивал, поглаживая бороду: «Воистину так, сын мой, ты всё правильно понял». Еще более пораженный, чем прежде, Гильгамеш воскликнул: «Но как это может быть! Я исходил множество стран и земель, но никогда не удавалось мне вернуться туда же, откуда выходил!» И когда развеселившийся мудрец в шутку предложил проверить его слова, Гильгамеш рассердился, и не на шутку. Он сверкнул глазами: «Вы зря смеетесь, учитель! Я докажу, что это не так. Прощайте!» С этими словами он вышел из городского сада, где и наставлял учеников сей великий мудрец. И в тот же день он покинул Аль-Каблу и двинулся на запад, вслед за солнцем, – если она не круглая, он просто никогда не вернется сюда.

Но дорога его в Аль-Каблу всё-таки привела, хотя путешествие длилось не один год. Он шел только на запад, днем ориентируясь по солнцу, ночью – по звездам. Просторы водные он пересекал с торговыми судами, с торговцами же переходил горные перевалы и пустыни Новых

Земель, и в конце пути, к великому удивлению, стал узнавать холмистые равнины Южноземья, а затем и вовсе уперся в белокаменные стены Аль-Каблы.

Несказанно огорченный, что Земля оказалась круглой, что оказался неправ, Гильгамеш вошел в город и нехотя направился в городской сад к Ис-Аль-Талиму. Гильгамеш был упрям, но честен, и решил, что следует извиниться перед ним за свое самонадеянное невежество. Но когда, придя в сад, он увидел мудреца, его охватило удивление. Перед ним вместо мужа зрелых лет, каким его запомнил, стоял старик: он поседел, начал даже слегка горбиться, хоть еще и не утерял окончательно благородной осанки. И Гильгамеш вдруг понял: это не тот Ис-Аль-Талим!

Гильгамеш выбежал из сада и побежал по городу и всюду находил перемены: новые дома, улицы, площади, чинара у караван-сарая, что помнил он маленькой и хилой, раскинула мощные ветви теперь широко и привольно. И Гильгамеш понял: это не та Аль-Кабла! Та Аль-Кабла, из которой он вышел много лет назад, чтобы проверить слова мудреца, тот Ис-Аль-Талим, чьи беседы он слушал в саду, остались в прошлом. Он пришел не в тот город, не в то место, откуда вышел, – в ту Аль-Каблу вернуться уже было нельзя – ее унесло потоком Времени.

Как возрадовался Гильгамеш! Значит, она всё-таки не круглая, раз нельзя вернуться туда же, откуда вышел! Она только кажется такой мудрецам, забывшим о времени, – Времени, не делающем петель, которое нельзя обойти по кругу и вернуться к началу. О Времени, что разрывает круг земной, стремящийся замкнуться в шар. Разрывает в бесконечную дорогу, где возврата к былому нет, даже если всё возвращается, где все тропы – неведомы и нехожены, даже если по ним когда-то ходил. А значит, его путь, Путь Бессмертного, никогда не прервется и не замкнется. И, успокоенный этой мыслью, Гильгамеш отправился в чайхану – день был жаркий, а Земля – бесконечной...

«Времена»

...Однажды Гильгамеш сидел ночью в степи у костра, любуясь звездами и ночным небом, и увидел удивительное, можно сказать почти что чудесное. Он увидел, как вспыхнула в созвездии Сайги, или, как его еще называли, Козерога, серебристая звездочка, – это была его звезда, некогда погасшая, но теперь засиявшая вновь.

Это была его звезда, Гильгамеш, несмотря на волнение, что охватило его, был уверен в этом. Ведь он хорошо помнил ее расположение среди звезд, ее цвет, яркость и мерцающий блеск, ошибки быть не могло, и могло это означать лишь одно: он вновь родился – где-то. Безумие? Но Гильгамеш всегда верил, что рано или поздно это когда-нибудь произойдет. Ведь в бесконечности времен, непредставимой и неохватываемой, в бесконечном круговращении вещей и судеб возможно любое сочетание. А значит, всё когда-либо рождавшееся и исчезнувшее имело шанс появиться вновь, хотя бы в силу случая, игры природы, шанс почти ничтожный при ограниченности сроков, но реальный в масштабах вечности. Хотя и ждать его можно было тоже целую вечность, а могло оказаться, что недостаточно и ее, – случай он ведь и есть случай. Но Гильгамеш верил, и это случилось: звезда его вновь горела на небосводе, означая, что где-то вновь родился он, – он, Бессмертный.

Его не смущало, как так могло, что он где-то еще, – мало ли что может произойти в этом удивительнейшем из миров? За века и тысячелетия ему встречалось и не такое. Да и помнил он к тому же поучения несравненного Фао-Шиня, великого мудреца Восточной Окраины (имел с ним он в свое время долгие беседы, когда случай приводил его в Лиань, где Фао-Шинь держал школу). «Посмотри, Гильгамеш, на этот камень и эту смоковницу. Что делает камень – камнем, а смоковницу – смоковницей? Свойства ли их или формы? – и Фао-Шинь вопросительно поворачивал к нему голову, но сам же и отвечал: – Нет, свойства и формы текучи, изменчивы, и каждому они зрятся разными, ибо зависят от наших чувств, а не от их сути. Делает же их

тем, что они есть, – мысль: мысль камня, что он – камень, застывшая и не позволяющая ему потечь водой или стать ветром, и мысль смоковницы, что она – смоковница, а не птица, сидящая в ее ветвях. Посмотри на меня и себя, Гильгамеш. Что делает тебя – Гильгамешем, а меня – Фао-Шинем? Только мысль, что ты – Гильгамеш, а я – Фао-Шинь. Только мысль, вне которой всё едино и всё есть всё. Убери эту мысль, и ты сможешь стать всем, хоть камнем, лежащим у дороги, хоть птицей, летящей в небесах».

И Гильгамеш знал, что родившийся в эту ночь, под этой звездой, есть он же сам, еще одно его воплощение. А мысль, что нашептывала, что это безумие и не может одно быть вместе с тем и другим, – всего лишь мысль, которую можно убрать, и всё станет возможным, даже самое невозможное. Разве возможно бессмертие для рожденного смертной, для имевшего начало? Вся мудрость веков, вся новая наука в один голос твердили, что нет. Однако он жил и знал, что будет жить и никогда не умрет. Да, его судьба была лишь случайностью и игрой природы в этом мире закона и необходимости, лишь случайным всплеском, прорывом какого-то иного мира, где возможно и иное, лишь невероятным поворотом колеса сансары, удачным броском костей, шанс которого – один на бесконечность, но если есть она, эта бесконечность, должен ведь быть тогда и один. И он был, он – Бессмертный, и он мог быть только один. И быть рожденным в эту ночь мог тоже только он один, ведь это была его звезда, Гильгамеш не мог ошибиться.

И запала ему с той ночи мысль – найти того, другого себя, где-то родившегося на этом белом свете. И увидеть мать свою и отца, ибо родиться он мог только от них, иначе это был бы не он. Но где искать себя, в каком таком краю, в какой земле, он не знал – земля была большая. Но помог случай: повстречал он как-то в Великой Желтой Степи большой караван, что шел откуда-то с востока к Срединному Морю, в богатые приморские города, и шли с ним три волхва старых. И рассказали они, что идут поклониться Царю-Младенцу, Сыну Девы, родившемуся под новой звездой, и указали на ту самую звездочку в созвездии Сайги. И понял Гильгамеш, что говорят они о том, кого хотел бы увидеть и он, и немедленно отправился с ними.

Путь их был неблизким. Пересекли они Великую Степь и Центральное Нагорье, Край Четырех Рек и Мертвые Равнины, и каждую ночь волхвы сверяли по звезде Гильгамеша свой путь, ибо только по ней могли вычислить место, где родился Младенец. Но по мере приближения к цели, уже отделившись от каравана, помощь им в этом стал оказывать и сам Гильгамеш. К удивлению, стал он узнавать родные места, степь своего детства, казалось бы давно исчезнувшую, растворившуюся в пространствах времен. А ведь искал он ее не раз, поддаваясь внезапно случавшимся с ним порой приступам странной, непонятной тоски. Но не находил, приходя к горькой мысли, что земля детства его, земля обетованная, сокрыта от него навсегда. Но теперь, озираясь по сторонам и окрестностям дороги, которой шли, всё более уверялся он, что не ошибся, что и вправду он сам родился вновь, а не кто-то другой.

И уже не удивился ничуть, только сильнее забилося сердце и хотелось бежать туда, вниз, когда увидел со знакомого холма, на склоне которого любил играть в детстве, родное стойбище и дымок от готовящегося ужина, когда услышал лай Джульбарса, Бека, Актая и блеянье овец в загоне. И волхвы, понявшие, что пришли, в благоговении опустили на землю и вознесли хвалу небесам.

А потом они шли к его дому, торжественно и величаво, неся дары свои – золото, ладан и смиру. И Гильгамеш шел с ними, с бьющимся сердцем, боясь поднять глаза, потому что кто-то в светлом стоял уже на крыльце, а когда поднял, увидел, как идет гостям навстречу молодая темноволосая женщина с тихим и приветливым взглядом. То была его мать, он не помнил ее лица, но знал, что это могла быть только она, он всегда представлял ее именно такой. И он пожирал ее взглядом, пытаясь запомнить на всю оставшуюся вечность эти родные до боли черты, зная, что такое может быть только раз, чтобы что-то возвращалось оттуда, откуда нет возврата, и уже никогда не повторится. И хотелось коснуться ее рук, рук матери его, пахнущих

дымом и свежим хлебом, прикоснуться, припасть, прижаться губами и смотреть в эти глаза, тихие и ласковые, но он только стискивал пальцы и шел за волхвами в дом.

Отца дома не было – повез он показать деду Мергену занемогшую Байму и вернуться должен был только на следующий день, – и объяснять им причину прихода пришлось матери. Та, впрочем, ничуть не удивилась словам волхвов о предназначенности ее первенца к Великому Царствованию, словно знала уже об этом. И когда вынесла она младенца своего, Гильгамеш вздрогнул, – это был он!

Да, это был он, Гильгамеш узнавал себя в нем, словно смотрясь в зеркало времени, и пока преподносили волхвы дары свои и звучали пророчества их о великой судьбе младенца, началось двоиться всё в голове у Гильгамеша. То чувствовал он себя младенцем этим и руки матери, державшие его, то вновь стоял за спинами волхвов, простой степной странник. И так его это стало разрывать, что не знал уж он, где он и кто он, что испугался даже за рассудок свой и понял, что нельзя ему более оставаться здесь. Но и уйти просто так, без подарка, не мог он, не хотел он обижать мать свою. И поэтому достал из котомки чашу для вина, хоть и не новую, и смущаясь этим, преподнес ее младенцу и сказал: «Прими в дар от странника, ведь и тебя ждет путь – и путь, и жизнь, и истина. Не проноси ее мимо, и смерть не коснется тебя». Гильгамеш знал, что тот никогда не умрет, хоть и судьба его сложится иначе – ничто ведь не повторяется дважды, даже если что-то возвращается. В тот же вечер он ушел с родного стойбища, – отца он так и не увидел.

Проходили годы, и, окидывая взглядом ночное небо и по-прежнему находя там свою звездочку, Гильгамеш успокоенно вздыхал и улыбался, вновь убеждаясь, что всё случившееся тогда не сон, что есть он где-то еще.

Но однажды, когда с той ночи, ночи его второго рождения, минуло более трех десятков лет, увидел он, как затуманилась и замерцала кровавым отблеском его звезда, его звездочка. И Гильгамеш понял – беда, стряслось что-то, что-то грозит ему, другому. Оседлал он тогда лучшего скакуна из табуна, что пас той весной на Хиорданских Равнинах, нанявшись к одному богатому шейху, и, не жалея ни себя, ни коня, в ту же ночь отправился на запад. Он гнал, сам не зная куда, доверившись сердцу, веря, что оно не ошибется и приведет к нему же, но другому, попавшему в беду.

Он скакал без отдыха и сна две ночи и два дня, и даже страшное знамение, что случилось в первый же день пути, не остановило его: с шестого часа по девятый померкло солнце и тьма, казалось, воцарилась по всей земле. Стали видны даже звезды, и даже его звездочка, совсем почти затянувшаяся зловещей, словно кровавой дымкой. А потом вдруг вздрогнула земля и сотряслась, и звезда его в тот же миг вспыхнула ярким светом, вспыхнула и погасла. Но Гильгамеш, нахлестывая коня и крепче прижимаясь к его холке, упрямо твердил себе, что это лишь наваждение, что не мог он умереть, – ведь он Бессмертный! И даже наступившая затем ночь, обычная ночь, когда вновь зажглись звезды, но только уже без его звездочки, не убедила Гильгамеша. И он лишь подгонял коня, а к вечеру следующего дня, завидев впереди стены большого города, понял, что уже у цели.

Оставив коня в придорожной харчевне, он поспешил в город и у его врат столкнулся... со своей матерью! Гильгамеш взглянул на ее поседевшие волосы, на скорбно сжатые губы и опустил голову – он всё понял: он не успел. Но разве мог он умереть? Гильгамеш коснулся ее руки и тихо спросил: где он? И она, словно ждавшая такого вопроса, молча взяла его за руку, повела через весь город и, приведя к небольшой пещере, заваленной камнем, кивнула: здесь. И Гильгамеш горестно опустился на землю – ведь это он умер! Но как такое могло случиться?! Ведь он не мог умереть, ведь он – Бессмертный! Гильгамеш не мог понять этого.

Он долго сидел у пещеры, ставшей ему, другому, гробом, наедине со своими горькими думами, – может, и он сам, не только другой, не бессмертен? И только когда вновь зажглись

звезды в небе, но уже без одной, он тяжело поднялся и пошел бродить по городу, потерянный и опечаленный.

К концу ночи вновь вышел он к той пещере, вышел и удивленно замер – было еще темно, но видел он, что камень, закрывавший вход, отвален. С бьющимся сердцем Гильгамеш вошел туда и потрясенно остановился – гроб был пуст! Белели в темноте пелены, небрежно отброшенная плащаница, но тела не было! Внезапно озаренный, Гильгамеш выскочил из пещеры и задрал голову. И так и было! И он засмеялся, засмеялся тихо и радостно: в созвездии Сайги сияла чистым и ровным светом серебристая звездочка, его звезда, звезда Бессмертного, что погасла третьего дня, но превозмогла тьму и воссияла вновь.

И когда вскоре слышались шаги, и увидел, как испуганно остановились перед развернувшейся пещерой две женщины, окликнул он их, сидя на камне: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет». И увидев, что испугались они еще больше, Гильгамеш вновь рассмеялся – маловеры! Ведь не мог он умереть, он всегда знал это, ведь сияла в небе Звезда Бессмертия, что будет светить теперь вечно, светить и во тьме, и тьма ее не обымет...

Декабрь 2000г.

«ТОПОЛИНЫЕ СКАЗКИ»

«Первая весна»

...Вначале была тьма – сырая, тяжелая, плотная. С запахом прелых листьев. И он вцепился в нее тонкими белыми волосками, растерянно и немного испуганно. Растерянно, хотя и знал, что так должно вначале, но откуда взялось это знание – объяснить не мог. И многое пугало – кто он? для чего? зачем? И эта резкость, отчетливость, ясность ощущений, это внезапное ощущение бытия. Вот тебя не было, а вот – и ты есть. Словно вынырнул из омута, словно пробудился от долгого сна, но было ли что-нибудь «до»? Или то был сон безначальный? В нем смутно мелькали картины: он летел, парил, кружился, кувыркался в воздухе, несомый ветром, согреваемый движением, опьяненный полетом, – но воспоминания ли то, сновиденья или фантазии, он не знал. И потому лишь сильнее вжимался в залежную тьму, будто желая зарыться, слиться, стать с ней одним целым.

Он вжимался и ощущал, как увлажняются покровы, как проникает в него живительная сырость, как что-то набухает внутри и рвется наружу. Он не замечал времени, – часы ли проходили или недели, он вслушивался только в себя. Он не замечал времени, окружающих пространств, – ведь всё время и все пространства мира были заключены сейчас в нем, и имело значение только, как дышит, как делится, растет и упорно пробивается сквозь оболочку зеленый росток. В нем заключалась его нынешняя и будущая вселенная, и она расширялась и росла с ним.

И он пробился, и уже вгрызлся в тяжелую прелую тьму, погружаясь и оплетая ее недра щупальцами-корешками, ветвясь и жадно всасывая солоноватые соки земли. Он торопился укорениться в ней, закрепиться, приобрести точку опоры, чтобы мир не переворачивался с каждым порывом ветра. Он хотел надежности, основательности, устойчивости, – хотел иметь под собой почву, и он закапывался в ее пучину слой за слоем. Там было темно, тепло, безопасно, но душно, и потому он знал – ему надо и вверх, к бесплотному и легкому – к воздуху. И он рос, и ввысь, и вниз, – сходя во мрак и восходя к небу.

А в один прекрасный день на его худощавом стебельке вылупился листок-первенец, и он впервые ощутил свет. Он его не видел, ибо не имел чем видеть, но буквально осязал его – каждой прожилкой листа, каждой клеточкой. Он ощущал, как барабанят по зеленой коже разноцветные корпускулы – синие, красные, желтые, – неся тепло и радость, щекоча и будоража, заставляя рваться вверх – туда, к неведомому, но несомненно существующему их источнику. Откуда-то же он исходит – свет! Что-то же там должно быть – изливающее это многоцветье, дарующее жизнь, благое! И виделось ему, захмелевшему от солнца, вселенское светозарное Древо, подпирающее свод небесный, соединяющее мир дольний и горный, осеняя земное – неземным. И распускались на Древе цветы невиданные, пламенеющие, самоцветные, и сыпались с космической выси семенами света – синими, красными, желтыми, – что радужным метеорным потоком лились на его зеленую макушку.

И от потока этой нисходящей благодати пробуждались новые силы: во всю задышали устьяца, глотая кислородный воздух, зашевелились, запульсировали клеточки, словно включился неведомый механизм, быстрее побежали соки по сосудам, и сами соки стали вдруг мучнисто-сладковатыми и насыщенными, пьяня и веселя, просветляя ту плодородную тьму, из которой вырос.

И он рос, и по дням, и по ночам, и в дождь, и в ведро, расправляя ветви и обрастая корой-кожицей. А как-то уловил листвою необычные колыхания воздуха – голоса человеческие:

– Глянь, Насть, тополёк, кажись, растет.

- Ой, откуда он здесь?
- Ветром, видать, с рощи занесло. Это дело нехитрое, они быстро прорастают.
- Какой зелененький еще весь, свеженький, – и он ощутил чье-то теплое ласковое дыхание. – Прямо как наш Колька.
- Так они и есть годки-ровесники, одной весной появились.
- Гриш, а давай его тоже вырастим? Поливать будем, окопаем, штакетник поставим, мы ж хотели здесь палисадник делать, а? Будут на пару расти-цвести, нас радовать, как братья молочные.
- Колёк да тополёк? Добре. Я полью, а ты иди Николая покорми, проснулся уж, поди, сейчас ор подымет.
- Так он познакомился с людьми. Наступало лето.

«Поль и Полина»

Первую осень он перенес тяжело. Когда пропали муравьи, сновавшие по нему всё лето, и загладели стаи грачей, он вдруг заметил, что листочки, его краса и гордость, его зеленые глаза, стали желтеть и сохнуть, а соки – густеть и замедлять свой ток. И мерзли по утрам корни. Что с ним? Зашевелилась тревога. Так должно? И почему так зябко? Заболел? А листва желтела, ссыхалась, облетала, и с нею ссыхался и мерк свет. Гас свет мира, и некогда яркий, радужно теплый дождь корпускул стал холодным и серым, а когда ветер оборвал, оголил все ветви, он ослеп окончательно и вновь погрузился во тьму. Неужели умирает?! Он не мог поверить – ведь так мало пожил! Ведь он не трава однолетняя! И он в отчаянии раскачивался и дрожал на пронизывающем ветру, словно осина. Ведь он хотел расти, цвести, тянуться к свету! И дотянуться до небес!

Но уже разливалась по стволу мертвенная вялость, бессильно закрывались поры, застыли крахмальными зернами соки, всё замирало и замерзало в нем, – казалось, что сама жизнь высохла и слетела пятнисто-бурым листом. А с первыми морозами странное оцепенение сковало его до сердцевины и кончиков корней, и последней деревенеющей мыслью мелькнуло: это смерть. Но то был лишь сон. Он спал и видел чудные сны, а в воздухе вновь, как в мае, кружился белый пух, только холодный и влажный, – то сыпала своими семенами расцветавшая зима.

И чего только не снилось ему! То виделось Небесное Древо, источник и хранитель жизни, а он – лишь пушинка, сорванная с его соцветий Вселенским взрывом. И взрывной волной неся он сквозь набухающую бытием пустоту, сквозь тьму, извергающую свет, и вихрились вокруг рои корпускул невиданных и невидимых цветов. Частицей-пулей прошивал он пространства, прошитые нитями энергий, и пенилась за ним пузырями-мирами космическая рябь, а в глубине – тончайшим камертоном гудели струны-паутины, настраивая мирозданье в лад. И всё звенело, блистало, зацветало: распускались огненными почками звезды, опаливая стаи комет, рассыпались осколками-спорами сверхновые, опыляя железной пылью, прорастали туманности планетами, всё туже закручивались тайфуны галактик и сверкающими провалами мрака манили черные дыры. А он летел – как когда-то: парил, кружился, кувырвался в эфире, несомый солнечным ветром светил. Он рассекал просторы, бродячее семя, бацилла жизни, скользя по трассам магнитных полей, не ведая цели и покоя, пока однажды коротким росчерком-метеором не расписался в еще пустынном небе Земли...

Снились и люди – Настасья, Григорий, чьи голоса и запахи он уже хорошо различал: если говор ласковый, баюкающий, и пахнет молоком и сеном – то Настасья, а если махоркой тянет и дегтем от сапог – Григорий. Виделись они ему то деревьями чудными – говорящими, безлистными, с ветвями мягкими и теплыми, – то кустами перекатными, корней не имеющими, по полям ветром носимыми, а то и вовсе существами потусторонними, духами-хранителями, усохшими душами предков. А порой мелькала во снах и роща родная, что раскинулась за око-

лицей, и чей-то милый древесный образ, образ тополевым, но смутный, зыбкий, со стволом тонким и гибким, с кроной стройной, и листочки гладкие да нежные, и сережки зеленеют призывно.

Так прошла первая зима. А начал сходить снег – началось и пробуждение: задвигались соки – от корней к ветвям, напитались влагой покровы, распахнулись устья и он еще сонно, но глубоко вздохнул. Пробуждение было медленным, тягучим, – он словно вытаскивал из глыбы темного мутного льда, и поначалу всё вокруг казалось темным и мутным, и только ощутив, как затеплилось солнце, как набухают почки, он стал приходить в себя. Когда же распустились клейкие листочки, его новые глаза, и разноцветные корпускулы вновь забарабанили по зеленой поверхности, он вновь увидел свет и окончательно проснулся. И возликовал – он снова жив! он снова будет!

Весна нравилась ему – это было время перемен и возвращения: вернулось тепло, и свет, как прежде, радужной дробью сыпался с небес, и опять шуршали хитином по стволу шустрые муравьи. А как-то услышал он разговор:

– Ты, Гриш, смотрю, прям как родного обхаживаешь!

У корней его копошился Григорий, аккуратно окапывая лунку.

– Так и есть – почти родной, Кольки моего годок, с прошлой весны вместе вверх тянутся. Вот подрастет как, понятие займает, скажу: глянь, сынок, это ровесник твой, братец молочный, мать вас обоих кормила-поила, кого – молоком, а кого – водицей. Вместе и вырастут.

– Ишь ты, ловко мыслишь! Вместе оно и впрямь веселей. Слышь, Гриш, а как бы и мне саженцем разжиться? Вам же в школу для сада привозили, а? Моя ведь, сам знаешь, тоже на сносях, через месяц-другой – срок. Я б тож в честь первого своего посадил бы деревце под окном. Да и летом где будет в теньке посидеть.

– Да можно, всё равно лишние остались. Завтра зайди с утра – выберешь, чего добру пропадать. Тоже топольки.

– Ну спасибо, сосед! С меня причитается!

А на следующий день до него донеслось, как звякает за штакетником лопата, крошится комьями почва и гремит ведро, а затем пахнуло чем-то таким родным и близким, что дрожь пробежала по листве и покрылась росой-испариной кора. Что это? Кто там? Взмолнованно заструились соки, и невольно потянулись за оградой ветви, и вздрогнули корни. Кто там? Он всеми устьицами вдыхал новый, но знакомый запах, – знакомый, ибо то был запах тополиный, – он не мог спутать! Ведь почти также терпко пахли собственные листочки, почки, его плотное древесное тело, но вместе с тем это был аромат более тонкий и нежный, мягкий и волнующий, и почему-то вновь мелькал перед ним тот смутный, зыбкий образ из зимних снов.

И вскоре услышал, как совсем рядом шелестит на ветру чья-то листва, и стало ясно – он не один! И жизнь заиграла новыми соками.

Он не мог дотянуться, коснуться родича, не мог придумать, как дать знать, что тоже здесь, рядом, что рад соседству, и потому лишь призывно шумел листвой – в надежде, что услышат и поймут. И, казалось, его слышали и понимали, по крайней мере так хотелось думать, когда в ответ доносилось такое же шелестение, – или то был лишь ветер?

А через месяц, в летнюю духоту, с соседнего двора опять кликнули Григория, только что полившего его:

– Гриш! Радость у меня – дочка родилась!

– Дочка? Поздравляю, папаша молодой!

– Заходи к нам, посидим! И Настёну с Колькой бери, – гулять будем!

– По такому случаю отчего ж не зайти? Здесь сам бог велел. Сейчас только переоденусь хоть. Как Татьяна-то сама, ничего?

– А чего ей будет-то? Лежит, кормит уже. А вот дочь – красавица писаная, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Верно, в бабушку свою, матушку мою, пошла. Та в молодости, сам помнишь, какая была.

– Имя-то дали?

– А чего выдумывать? По матушке и величать будем – Ольгой.

– *Добре*. У меня – Колька, у вас – Олька. Красота!

– Вот и я об том же! У вас – купец, у нас – товар, а там, глядь, и породнимся!

– Дай-то бог! Лишь бы здоровыми росли.

– Вот за это и выпьем! Заходь!

...И потянулись годы. Рос он, обрастая корой и кроной, рос родич за штакетником, росли и человечьи «саженцы» – Колька с Олькой, детские голоса которых вскоре тоже научился различать. Он уже не боялся зимы и долгих снов вслепую, и с привычной радостью встречал каждой весной возвращение тепла, света и грачиного гомона, и каждой осенью, полусонно зевая *порами*, также привычно сбрасывал пестрый халат листвы. Он рос и *вширь*, и *ввысь*, и в *глубину*, раскидывая сеть корней и ветвей, проникая, пронизывая и опутывая недра земные и воздушные.

Жизнь его текла размеренно, неспешно, – так же, как неспешно текли соки: в холодную пору – почти замирая, а пригреет чуть – разливаясь половодьем. Снег сменялся дождями, сырость – сухью, ветер гнул к долу, а он лишь рассеянно качался. Морозы распахивали кору трещинами и морщинами, летнее солнце топило лавинами света, ненастье секло градом, а он только крепчал. Он крепчал, взрослел, но по-прежнему любил помечтать, хоть то и были праздные мечты тополя-недоросля.

То виделось, как вырастает до облаков – по образу и подобию Древа Небесного, – накрывая спасительной тенью всю округу, становясь прибежищем и защитой для малых: и птах, и мурашей, и прочей живности. То грезилось, как взмахнет кроной – и взлетит! И будет вновь кружиться и кувыркаться в воздухе пушинкой-младенцем – несомый-невесомый, свободный-беззаботный!

А иной раз хотелось научиться речи человеческой, чтобы говорить с детьми, чей лепет-щебет так радовал, наполняя всё вокруг весельем и беспечностью. Когда слышал заливи-стый смех Кольки, играющего с соседским щенком, или как старательно, подражая взрослым, выводит напевы Олька, собирая малину, легкая дрожь пробежала по листочкам и он замирал, не желая упустить ни звука, – ему нравились их голоса, их перекаты-переливы. Так пролетело, в мечтах и снах, лет десять.

...Та весна началась необычно: он пробудился до срока – от смутного томления, от зуда в молодых побегах со странными, удивительно крупными почками на концах. Еще не раскрылись листья и прихватывали по ночам заморозки, еще пребывал он во тьме, а диковинные почки уже набухли, готовясь раскрыться. Он ощущал, как пульсируют в них соки, густые, крахмалистые, пьянящие, как вбирают они в себя его древесную силу, сосредотачиваясь и тяжелея, как пахучим смолистым эхом растекается вокруг их терпкий дух, – что-то новое, прежде невиданное назревало в нем.

Повеяло солнцем, и странные почки распустились, сбросив чешуйки наземь. И то оказались не листочки! То были цветочки, гирлянды рыжевато-пурпурных сережек, – он зацвел! И от запаха их, от переполнявшей их пыльцы и переполнившей его радости захмелел он, закачался словно на ветру, и по избытку сил, забурливших в нем, казалось, взмахни ветвями – взлетит, как в мечтах своих!

А в один из теплых деньков, когда соцветия его, поначалу упругие и твердые, стали рыхлеть и вытягиваться от созревшей пыльцы, слышал он подле себя голоса Ольки, Кольки и Григория:

– Дядь Гриш, а отчего на нашем тополе сережки зелененькие, а на вашем – цветастые, красненькие?

– А от того, что у нас – тополь, а у вас – тополица.

– Это как?

– А так! У нас – мужики да бабы, парни да девки, вот и у них так же.

– Прямо как у людей?

– Прямо как у людей. И малые у тополицы вашей в сережках потом пойдут. Пух в роще видали какой бывает перед каникулами?

– Ага, аж в нос лезет.

– Так это вот и есть их семена-детки, по миру разлетаются. Вот вырастете вы с Колькой и тоже как пух улетите.

– Не-е, бать, я вас с мамкой не брошу, – вмешивается Колькин голос. – Я ж не пух, ветер не унесет.

– И я своих не брошу! – подхватывает Олька. – Буду в старости их утешать. Дедушка когда умирал, мне так наказывал.

– Ну я ж не насовсем, говорю, улетите. Может, учиться в городе придется, нынче жизнь такая. Вот трактора в колхоз пригнали, а пахать на них толком никто не умеет, да и чинить, коли сломаются, некому. А так мыслите верно: человек – не пух, ветром носимый, сам должен решать, куда прикрепится, а лучше родной стороны ничего на свете нету.

– Кольк, дядь Гриш, а я, кажется, им имена придумала!

– Кому?

– Да тополям нашим. Слушайте: то-поль и то-полина, то Польш, а то Полина! Есть же имена такие, правда?

– Верно, есть. У нас здесь даже как-то коммуна была Поля Лафарга, ну, после гражданской сразу, еще до колхозов. В честь большевика французского.

– Польш и Полина, тополь-тополина! – закружился вокруг Олькин смех. – Пой, Полина, невеста тополина!

– А я вот Полю висюльки-то его пооборву! – и он почувствовал, как хватаются за нижние ветви цепкие мальчишечьи пальцы. – Коли парень, неча в серьгах красоваться!

– Эй-эй! – раздался строгий окрик Григория. – Я тебе сейчас самому уши оборву! Ну-ка брысь с дерева!

– Так я ж в шутку, бать! Я только Ольке хотел парочку сорвать.

И висевший нехотя разжал пальцы, ветка резко выпрямилась, и от толчка сотряслась вся крона новокрещенного Поля, – и он взлетел! Да, взлетел! Что-то лопнуло внутри сережек, и сотни, тысячи и сотни тысяч зерен-пылинок, частичек его самого, взвились в воздух, а ему казалось, что это летит он. Это было непередаваемое ощущение: он – везде! Он живой туманностью парил над крышами, над садами и огородами – и молодым тополем стоял в палисаднике. Он зеленоватым роем клубился, крутился, кружился в восходящих потоках – и нисходил корнями до подземных вод. Облако пыльцы стало его крыльями, руками, глазами-пальцами, он касался ими и видел то, что раньше мог только слышать. И впервые увидел соседку-тополину, тонкий ствол и гладкую кору, увидел и коснулся ее зеленых сережек, осыпав пылью. И что-то всколыхнулось в нем от касания, и что-то отозвалось в ней – радость узнавания, волнение близости. И нежность. Такая, что хотелось окутать ее, Полину-тополину, собой, окутать и не отпускать, и соприкасаться ветвями, и гладить кору, и вдыхать смолистый аромат почек. Такого с ним прежде никогда не было, он надолго запомнил этот миг.

А ближе к лету, – уже зацвела сирень и вечерами голосили на пруду лягушки, – завихрилась, заметелила вокруг белая круговерть, – то Полина раскрыла короба с пухом. И он прощально махал пушинкам: летите, дети, летите! Ведь и он когда-то умел так...

Так он стал взрослым. Наступало лето его жизни.

«Осень»

С той поры, как впервые зацвел, всё преобразилось: в его жизни появилась она – Полина, невеста тополины. С мыслями о ней он просыпался каждую весну и засыпал каждую осень, встречал рассветы и провожал закаты, он ловил любой шорох, любой скрип из-за забора, и тянулся ветвями, надеясь дотянуться до нее. Он тихо шелестел листвой – он умел это делать даже в безветрие, – пытаясь выразить то невыразимое, что теснилось под корой, в сердцевине, что хмельными соками бродило по сосудам, и его – о, чудо! – слышали, и ему внимали! Когда слышал ответный шелест, и в нем ту же радость-волнение, что переполняла до кончиков кроны и его, он знал, зачем явился на свет, – чтобы вместе качаться без ветра и радоваться под солнцем, вместе цвести и летать!

И они цвели, и они летали – пылью и пухом, – то были самые сладостные моменты. Он забывал тогда обо всём; весь мир, весь смысл его заключался теперь в зреющих сережках, их соцветиях и завязи, только в них и – в полете! Взмывала пыльца, и он ощущал себя почти божеством, вездесущим духом, носившимся над безвидной и пустой землей, жаждущей творящей мощи. И он осенял собой, и благословлял – плодитесь и разлетайтесь!

И они плодились, и они разлетались – пухом, белым, легким, невесомым, – и знали: где-то зашумят рощи, их поросль и продолжение рода, и не прервется их линия жизни никогда. Так было каждую весну.

Но и в иную пору они не расставались. Они слышали и слушали друг друга ежечасно, шурша листвой, качая и поскрипывая ветвями, и со временем научились различать в этом шуме, их безмолвном языке, мельчайшие оттенки мыслей, настроений, переживаний. Вздрогнет Полина веткой – встрепетается и Польш: что-то случилось? А в ответ лишь смущенно-успокаивающий шелест: всё хорошо, просто жучка-надоеду сбросила...

Они могли разговаривать так днями и ночами, – безыскусные беседы их текли неспешно, без оглядки на время, – куда им торопиться? И беседовали обо всём, что окружало или занимало: жаркое ли будет лето? куда улетаю осенью грачи? как цветут люди? И так же, сутками, могли и молчать, если говорить было не о чем, но и в молчании не оставляла тихая радость от близости другого. Знал он – она здесь, рядом, и всегда будет рядом. Ведь связала их сама земля, на которой стоят, соками которой питаются, – и в просветленном молчании лишь крепнет та нитка-паутина, что натянулась меж ними с той весны. Знала и она – он не покинет, и этого было достаточно для ее нехитрого тополиного счастья.

А тем временем выросли, «зацвели» и Колька с Олькой. И слышали тополя, как смеялись, шептались, целовались те по вечерам на скамейке.

- Пойдешь за меня?
- Коля-Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!
- Я всерьез!
- Петух или курица?
- Я тебе щас покажу «курицу»!

Раздается возня и залихватистый смех Ольки.

А в начале лета огласила улицу гармонь и крики «Горько!» И до рассвета не смолкали радостно-хмельные голоса в соседских дворах, и лились песни, и мочились под забором пьяные гости.

Но «цвести» пришлось недолго: через пару недель пронеслось над селом одно только слово – война! И другие полились песни из репродуктора у школы, и огласили улицы плач и бабьи причитания. Августовским утром заголосили и Настасья с Олькой.

- Коля, Коленька!
- Сынок!

– Не бойсь, мамань, мы до Берлину – и сразу домой! Оль, слезу-то утри! Чай, не на похоронах еще! Присмотри за ними, бать.

– Присмотрю. Возвращайся только скорей!

– Куды ж я денусь? Вернусь!

Но не вернулся. Через месяц угрюмо подкатил к палисаднику велосипед почтальона, хлопнула калитка и – вскрик. И тихие рыдания.

– Коля, Коленька!

– Сынок!

Потом ушел и также не вернулся Григорий.

А когда пожелтела листва, война коснулась и тополей. Холодным хмурым днем потянулись через село, с заката на восход, хриплые усталые голоса и густые запахи – пороха, пота, махорки. Чавкала грязь под кирзачами, скрипели подводы, фыркали лошади, кто-то зло матерился, а затем загудело небо, словно тысячи пчел разом поднялись в воздух. Загудело, зажужжало, засвистело, и содрогнулась земля – от взрывов и криков. И грохнуло рядом – в соседнем дворе, опалив Поля горячей волной, после которой что-то с шумом повалилось оземь.

Уже лязгали на околице гусеницы, остервенело брехали собаки, и маршевыми колоннами входили другие голоса и запахи – чужие! Но Поль словно оглох – для него вокруг звенела тишина, он ничего не слышал. Где Полина? Почему так тихо? И, оглушенный, он мучительно вслушивался – не зашелестит ли за забором листва? Листва же шелестела, но шелестела всё слабее, и под конец только ветер теребил крону, лежавшую на земле. А у забора торчал обломок ствола.

Так Поль остался один, и всю зиму доносилось сквозь дрему-кошмар, как пилят, как рубят по соседству дрова, и как белым дымом – или то был пух? – улетает Полина в морозное небо. Весной он так и не зацвел.

И вновь потекли годы. Он рос, раскидываясь широко и привольно, царапая крышу, стуча в окна, и гнездились на макушке крикливые грачи. Рос ввысь, словно желая дотянуться до небес, и тень на закате дотягивалась уже до конца проулка.

А вечерами выходили к палисаднику Настасья с Олькой – на скамеечке посидеть, воздухом подышать. Поначалу обе – потом одна. И пробежавшая детвора здоровалась уже по отчеству:

– Здравствуйте, Ольга Тимофеевна!

Она молча кивала, и шершавые пальцы гладили шершавую кору, – вот и остались мы с тобой одни, тополек... А он лишь глухо шумел в ответ.

Со временем боль утихла, и он снова цвел, едва сходил последний снег, и снова летал – но теперь один. И вспоминал, как летали вместе. Но грусть его была светла, – он знал, что они непременно встретятся, там, где шумят небесные рощи и льют радужные дожди, где под сенью Вселенского Древа их ветви сплетутся навсегда...

11 июня 2016 г.

«ЗАПИСКИ БРЕМЕНСКОГО МУЗЫКАНТА»

Угораздило меня родиться таким ослом! И ладно бы фигуральным (фигуральных ослов ведь не сразу видать), так нет – самым натуральным, с ушами и хвостом. С другой стороны, разве я виноват? Пес говорит, это всё гены, а Пес у нас всё знает, – с генами, говорит, не поспоришь. Да и родители, конечно, подкачали: мама – ослица в седьмом колене, папа – тоже осел натуральный. Спрашивается, кем бы я еще мог родиться? Уж точно не бабочкой! Несправедливая всё-таки эта наука генетика, я бы сказал даже лженаука, – разве сын в ответе за отца? Почему я должен ишачить всю жизнь из-за папы—ишака? Я часто думаю, мог бы я родиться от других родителей? Или это был бы уже не я? Не знаю, но уж очень обидно было, когда Трубадур представлял Принцессе: а это, говорит, наш Осел, – и так снисходительно похлопал меня по боку. Всех, значит, «это Кот, это Петух, а это, моя Принцесса, Пес», – а меня: Осел! По ушам так и резануло! Чуть со стыда не сторел – Осел! Неужели нельзя было как-нибудь помягче, ну, поделикатней что ли, выразиться? Неужели всю жизнь с таким клеймом в Ее глазах ходить? Осел! Эх, чуткости, чуткости элементарной Трубадуру порой не хватает, хотя в остальном он парень хороший: репьями на обочине разрешает лакомиться, на дворах постоянных овса подсыпает, не нагружает сильно в дорогу, да и петь разрешает, а это самое главное. Петь, чего греха таить, я люблю. Петух, конечно, всегда клюв кривит, пение мое слыша, – это, говорит, не пение, а просто рев утробный, трубой какой-то зовет (иерихонской, кажется, не знаю, правда, что это такое, надо будет у Пса спросить). За пение, можно сказать, и пострадал – крова хозяйского лишился, работы и кормов гарантированных. Я ведь не приبلудный какой-нибудь, не под забором найденный, я – осел честный, в хлеву рожденный, молоком ослицы вскормленный. Просто петь люблю, вот хозяин и выгнал, когда надоело мое пение по ночам слушать, хотя я вроде бы и негромко пел, можно сказать под нос мурлыкал.

Да впрочем, чего сейчас прошлое ворошить? Мало ли кем раньше были? Пес вон вообще у профессора жил, в библиотеке мышей гонял (профессор почему-то котов на дух не переносил – Пес говорит, аллергия), воздухом книжным дышал, оттого, наверно, и знает всё. Про Кота и не говорю – детдомовский, по подворотням шлявшийся, до сих пор любит порой «когти вее-ром распустить» да «по-пацанячьи, чиста ка-а-анкретно побазарить», когда Трубадура рядом нет. Но это всё в прошлом – сейчас мы артисты бродячие (Петух, правда, всегда поправляет – «странствующие», но Петух у нас любит поэстетствовать), музыканты из вольного города Бремена (так нас всегда Трубадур объявляет, хотя оттуда только он сам, а я даже не знаю, где это). Сегодня, кстати, Коту крепко перепало от Трубадура за очередную «шуточку», когда, косясь на Принцессу, он ехидно промурлыкал, вроде бы себе под нос, но так, что услышали все, что скоро мы, похоже, станем «беременскими музыкантами». После чего Принцесса густо покраснела и зачем-то одернула на себе платье – я чуть не заржал (прости, господи, осла!).

Мы свое призванье не забуду-у-дем!
Смех и радость мы приносим лю-у-дям...¹

Но, если честно, мне Принцесса понравилась – красивая. И добрая. И поет хорошо – нам как раз для верхних партий такой голосок и нужен, Петух ведь больше хорохорится да умничаёт, тенора из себя строя, а выше второй октавы взять уже не может (только если «петуха» пустит). Хотя стихи, надо признать, пишет великолепные.

Говорят, мы – бяки, буки,

¹ из м/ф «Бременские музыканты», слова Ю. Энтина, музыка Г. Гладкова

как выносит нас земля?²

– неплохо, да? Или вот еще:

Ох, рано
встает охрана!³

Какие строчки! Какой ритм! Это всё Петух наш – Поэт! Не каждому дано. С меня и Петуха, кстати, компания наша и начиналась, если уж прошлое помянуть, хотя организовали всё, спору нет, Кот с Трубадуром. Мы с Петухом ведь земляки, оба – сельские, правда происхождения разного: я – из крестьянской семьи, он – из интеллигентов земских (хозяйка его уборщицей в школе музыкальной работала, грех с такой наследственностью музыкантом не стать). В тот день хозяин мой, мужик, в общем-то, неплохой, с утра злой ходил из-за погоды – утром ливень был с градом, урожай побил сильно. Вот и сорвался на мне, когда я в хлеву на сон грядущий голосок тихонько опробовать хотел.

– Ах ты, скотина непонятливая! Ах ты, ишачина стоеросовая! – ворвался он в загон как бешеный бык и в ярости отдубасил черенком лопаты. – Сколько раз говорили, не реви попусту! – и выгнал затем пинками на улицу. – Всё, уволен без выходного пособия!

Пес, конечно, потом объяснял, что мог бы пожаловаться в Комитет по защите прав животных, в Гринпис какой-то. Что мог требовать пенсию в Зверсобесе по возрасту, но какая, к черту, пенсия, если хозяин, я точно знаю, никаких отчислений пенсионных ни сеном, ни овсом никуда не делал. Да и я за них нигде не расписывался, можно сказать в конверте получал, – с копытами моими не больно-то распишешься, пойдя докажи потом, что честно свой стаж отыскал!

В тот вечер я с Петухом на площади базарной и повстречался, когда по рядам овощным шатался, обшаривая баки и коробки мусорные, ужин добывая. Он тем же занимался, хотя поначалу пытался вид сделать, что просто прогуливается, – мол, за кого ты меня, осел, душа мужицкая, принимаешь?! Похорохорился, попетушился, но потом сник.

– Может, так и надо, а? – и Петух вздохнул, усевшись на кучу соломы, клюя гнилой капустный лист. – Может, в этом и заключается правда сермяжная? Исконная, из глубин народных идущая... Может, выйду я из лишений тяжких очистившимся и просветленным, как считаешь? Ведь со многими великими так было. Да, да! – пораженный этой внезапно пришедшей мыслью, он на мгновение застыл, а затем оживился, вскочил и заходил взад-вперед. – А ведь и впрямь многие со дна начинали! Многим ведь и не такое приходилось есть, не в таких местах ночевать случалось. Вспомни, Осел, андеграунд наш, субкультуру панковскую. Хоть и не поклонник я их, но тем не менее – феномен культуры, это бесспорно!

И Петух воспрянул, и его понесло, хотя история его была самая банальная. Хозяйка его обещалась кому-то на день рождения свой индейку приготовить (мода у нас такая в последние годы пошла на блюдо это, сериалов, что ли, насмотрелись, не знаю). А так как никто у нас индейки живой даже на картинках не видывал, и даже объяснить не мог, что это за птичка такая, то решила Петуха на это дело сподобить. (У нас все так делают: мода есть, индеек нет, вот петухам и приходится за собратьев своих пернатых отдуваться, а гостям званым – только вид делать да ахать: ах, индейка была просто божественна!)

² из м/ф «Бременские музыканты», слова Ю. Энтина, музыка Г. Гладкова

³ из м/ф «Бременские музыканты», слова Ю. Энтина, музыка Г. Гладкова

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.